



И. Градь.

РАДОСТНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ.

1915 г. Пробуждение № 11-й

1-го Юня 1915 г.



З н о й.

Быть может, солнце потекло ручьями,
И не звонки трамваевъ—блескъ его звенить,—
Блескъ, отраженный стеклами и остріями,
Жельзо раскалившій и гранить...

Аэропланъ, какъ мошка въ паутинѣ,
Въ дали задымленной надъ лѣсомъ трубъ...
Шаръ слишкомъ золотой язвителенъ и грубъ...
Не дьяволь-ли плыветъ въ лазурномъ паланкинѣ,
И къ намъ летитъ огонь съ его тлетворныхъ губъ...

Минуты зноя длительны и жутки,
Обуглится земля, испепеливъ сердца...
Кровавое перо на шляпѣ проститутки—
Какъ ярый знакъ безумья и конца.

Александръ Рославлевъ.



ПРОБУЖДЕНІЕ.

Годъ 10-й.

Выпускъ 11-й

Центральная библиотека им. Зах.
им. Трина.



* * *

Забить, уйти, оставить въ блестяхъ слезъ
Твое лицо, мнѣ навсегда родное—
И знать, что жизнь и свѣтъ съ собой унесъ,
Лишь ради той, въ чьихъ ласкахъ сла-
дость зноя;

И знать, что вновь, когда пройдетъ угаръ
И вновь взволнуютъ прежнія надежды,—
Стыдясь за злой туманъ ушедшихъ
чаръ,
Я прикоснусь къ краямъ твоей одежды...

Что можетъ быть и горше, и больнѣй!
И все-жъ ушелъ. Но такъ, быть можетъ,
надо.

Вернусь, вернусь! Гори, моя лампада!..
А если, вдругъ... ты стала холоднѣй...

Георгій Казаровъ.





Дуняшу просватали.

Разказъ П. Сергѣенко.

За нѣсколько дней до Покрова къ Антошинымъ приходила старая, всегда все знающая, Лукинишна и посулила, что на праздникъ прїѣдутъ изъ Малыхъ Борокъ сваты съ женихомъ на смотрины невѣсты.

— У васъ—товарь, у нихъ—купецъ. А купецъ такой, что мое почтеніе и только.

Нѣсколько дней Дуняша Антошина находилась, какъ въ лихорадкѣ.

Каковъ онъ изъ себя—ея суженый? И какой у него характеръ? И понравится-ли она ему? Ахъ, Боже мой! И почему у нея все валится изъ рукъ?..

Дуняшѣ шелъ 17-й годъ. Но она казалась моложе своего возраста и производила впечатлѣніе еще не сформировавшейся дѣвушки. Но на деревнѣ уже ползли толки, что Дуняша засидѣлась въ дѣвкахъ.

Около 2-хъ часовъ дня, кудластый антошинскій Барбось извѣстилъ хозяевъ особеннымъ неистовымъ лаемъ, что къ избѣ подѣхали незнакомые люди.

Антошины хотя и ждали «купцовъ», но, согласно этикету, никакихъ внѣшнихъ признаковъ ожиданія въ избѣ не было.

Столъ не былъ накрытъ. Дуняша, конечно, отсутствовала. Она еще съ утра отправилась съ сильно бьющимся сердцемъ къ своей подругѣ въ гости. И за нею должны были прислать, когда придетъ время.

Въ заново отстроенной послѣ пожара тесовой избѣ Антошиныхъ было жарко натоплено и вкусно отдавало смолистымъ запахомъ сосноваго дерева. Прїѣхавшіе сваты съ женихомъ знали всѣ порядки и, не раздѣваясь, чинно усѣлись около двери. Сладится дѣло, тогда и обхожденіе будто иное. Бесѣда не клеилась въ ожиданіи невѣсты. Говорили о постороннихъ вещахъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ сватовству.

Послышался скрипъ быстрыхъ шаговъ. Отворилась дверь и вошла Дуняша съ пылающими отъ мороза и волненія щеками. Ничего не видя и не замѣчая, она бросила въ пространство «здравствуйте!» и прошмыгнула за ситцевую занавѣску.

Черезъ минуту оттуда послышались подавленный шопотъ и непрерывный шорохъ и шелестъ.

Старшая сестра Дуняши, бѣдовая солдатка Настасья, начала спѣшно снаряжать дрожавшую отъ волненія Дуняшу для торжественнаго выхода. Дуняша должна была надѣть новые полусапожки со скрипомъ, новую юбку, новую кофточку и проч. Все самое модное и торжественно шелестящее.

Наступил, наконец, и критический момент. Настасья вывела из-за занавѣски Дуняшу и поставила ее посрединѣ избы, точно статую. Женихъ, безусый, смущающійся парень съ одутловатыми щеками, украдкой поглядывалъ на Дуняшу и опускалъ глаза, когда на него обращали вниманіе. Но энергичная и непосѣдливая мать жениха, закутанная въ нѣсколько платковъ, обошла Дуняшу кругомъ, затѣмъ начала внимательно присматриваться къ ней и прикасаться руками. Не поддѣльная-ли у нея коса? Не фальшивая-ли грудь...

Убѣдившись, что у невѣсты все, какъ слѣдуетъ, будущая свекровь предложила Дуняшѣ пройтись по избѣ. Надо все обстоятельно изслѣдовать. Дуняша, сгорая отъ стыда, машинально исполняла все, что требовала взыскательная гостья.

Первый актъ смотринъ кончился. Предстояло выяснитъ взаимное отношеніе молодыхъ.

Бѣдовая Настасья быстро все организовала. Она увела жениха съ невѣстой черезъ сѣни въ полутемную каморку и, усадивъ ихъ на мѣшкахъ съ ячменемъ, покровительственно шепнула:

— Посидите здѣсь рядкомъ да поговорите ладкомъ. Познакомьтесь!

Оставшись въ полутемной каморкѣ вдвоемъ, плечо о плечо, съ незнакомымъ человѣкомъ, Дуняша еще больше заробѣла. Въ свою очередь и женихъ не чувствовалъ себя свободно. И нѣкоторое время молодые сидѣли молча. Наконецъ, женихъ набрался духу и, повернувшись къ невѣстѣ, спросилъ:

— Какъ ваше имя?

— Евдокія, — отвѣтила дрогнувшимъ голоскомъ Дуняша.

— А папашу вашего какъ зовутъ?

— Павелъ Степановичъ...

Женихъ вспоминаетъ наказъ матери, что надо испытать невѣсту, не глуховата-ли она? И, понизивъ голосъ, онъ чуть слышно спрашиваетъ:

— А мамашу вашу какъ звать?

— Глафира Федоровна.

Опять молчаніе. И опять женихъ пробуетъ навести мостъ:

— А чѣмъ вы занимаетесь?

— Папаша по печной части, а мы съ мамашей по крестьянству...

И сѣмъ, и косимъ сами, — хозяйственно говоритъ Дуняша, овладѣвая собою.

Женихъ одобрительно ухмыляется.

— Я уже слышалъ, что вы и пашете сами.

Жениху нравится Дуняша. Она это чувствуетъ и, волнуясь, думаетъ объ этомъ. Онъ, какъ-бы, угадываетъ ея мысли:

— Скажите, Евдокія Павловна, нравлюсь я вамъ, или нѣтъ?

Сердце у Дуняши замираетъ. Что сказать? На подмогу приходитъ женскій инстинктъ и подсказываетъ Дуняшѣ общепринятую въ подобныхъ случаяхъ эластичную форму:

— Какимъ же людямъ быть?..

— Ежели нравлюсь, такъ идите за меня... А ежели не нравлюсь, такъ прямо и скажите... Лучше теперь... чѣмъ ежели... опосля между нами не будетъ согласности.

Учтивый, серьезный тонъ и рѣчь жениха трогаютъ Дуняшу. Она набирается храбрости и говоритъ въ тонъ жениху:

— Вы мнѣ нравитесь. Но я не знаю, понравитесь-ли вы и ваши родители моимъ.

Дуняша вспоминаетъ о хозяйственныхъ дѣлахъ и добавляетъ нерѣшительно:

— Быть можетъ, они въ этомъ году не въ состояніи выдать меня...

Женихъ улавливаетъ Дуняшину мысль и успокаиваетъ ее:

— Ежели-бы они были не въ состояніи, то не позволили-бы намъ пріѣхать.

Дуняша соглашается съ доводомъ жениха и въ раздумьѣ опускаетъ голову. Такъ все еще не ясно ей въ ея отношеніяхъ къ сидящему рядомъ съ нею гостю.

Слышится скрипъ двери и заливчато веселый голосъ Настасьи:

— Вы не заснули тутъ?

Женихъ и невѣста вскакиваютъ и растерянно молчатъ. Настасья выпроваживаетъ жениха и возвращается къ Дуняшѣ, стораая отъ любопытства.

— Ну, что?.. Нравится онъ тебѣ?.. Согласна пойти за него?..

Дуняша мнется и молчитъ. Настасья дѣлаетъ видъ, что сердится.

— Ну, что-жъ ты молчишь, дура?.. Не мнѣ же идти замужъ, а тебѣ. Ну, говори, что-ли... Пойдешь за него?

Дуняша тянетъ чуть слышно:

— Какъ хотите... такъ и дѣлайте...

Настасья заливается смѣхомъ и ведетъ Дуняшу въ горницу. Но Дуняша скрывается за занавѣской и остается тамъ. Въ избѣ наступаетъ продолжительное безмолвіе. Настасья уже успѣла шепнуть старикамъ, что молодые понравились другъ другу.

Пріѣзжіе сваты млѣютъ отъ испарины и ожиданія, но шубъ не снимаютъ. А вдругъ дѣло не сладится? Но дѣло, повидимому, идетъ на ладъ. И женихъ, и невѣста, и пріѣзжіе сваты, и хозяева—всѣ взаимно понравились. Помолитесь-бы Богу и за столъ. Но предстояла еще самая трудная и щекотливая задача: разрѣшить вопросъ о приданомъ.

Отецъ Дуняши, Павель-печникъ, все время держалъ себя дипломатически. Покуривалъ трубку-носогрѣйку и отъ времени до времени не безъ эффекта сплевывалъ сквозь зубы тонкой струйкой. Павлу было и лестно, что пріѣхали изъ другого села свататься за Дуняшу, и грустно, что, можетъ быть, скоро придется разстаться съ любимой дочерью. Такая ужъ она работающая и почтительная, что прямо-таки на рѣдкость. Опять же и расходы предстоятъ немалые. Надо дать приданое, надо сыграть свадьбу... Но пусть все будетъ, какъ рѣшитъ Глафира. Глафира умница и всему голова.

И Павель отдѣлывался неопредѣленными междометіями.

Отецъ жениха — худой, высокий, рыжеватый мужикъ Тихонъ, съ кроткимъ иконописнымъ лицомъ—держалъ себя тоже уклончиво. Между тѣмъ, приличія требовали, чтобы финансовую сторону брачнаго союза обсуждали мужики. А бабы временно стушевались-бы.

За пестрой занавѣской, закрывавшей кровать, сидѣла, притаившись, волнующаяся Дуняша. Ей понравился женихъ. И слухи о немъ были хорошіе: онъ степенный, непьющій и хорошо зарабатываетъ. И Дуняшу тянуло къ жениху. Но и страшно было. И сердце у нея трепетало, какъ у пойманной птички.

Послѣ значительной паузы и понукающаго откашливанія не-

посѣдливой Феклы, Тихонъ замигаль глазами и ласково обратился къ Павлу:

— Ну, сваточекъ, давайте же теперь и того... поговоримъ, то-есть, о дѣлѣ... Потому, какъ нельзя безъ этого... Сколько вы намѣрены дать приданаго за вашей дочерью?

Павель поглядываетъ на Глафиру, щурится, точно отъ яркаго свѣта, и дипломатически спрашиваетъ:

— А сколько вы хотѣли-бы получить?

Тихонъ мнется.

— Вы ужъ сами, сваточекъ, опредѣлите, сколько намѣрены дать за вашей дочерью.

— Гм! «Сколько намѣрены дать?»—юмористически произноситъ Павель съ оттопыривающимися отъ улыбки усами.—А я такъ намѣренъ, чтобъ было, значить, по справедливости: мы выдаемъ замужъ нашу дочь, вы жените своего сына... Ну, значить, и квитъ. Чего жъ еще?..

Тихонъ понимаетъ шутку и кротко улыбается.

— Такъ-то такъ, сваточекъ! Но нужно еще, какъ водится и того... и приданое, то-есть.

Павель, какъ будто, недоумѣваетъ.

— Да какое же еще нужно вамъ приданое? Мы даемъ за дочерью нашей двѣ шубы, десять платьевъ, перину, подушки и тому подобное. И все, какъ слѣдуетъ.

Тихонъ дружелюбно киваетъ головою въ тактъ со словами Павла.

— Это все хорошо. Но и приданое, сваточекъ, все-таки того... нужно, то-есть...

Женихъ, согласно этикету, сидитъ въ уголкѣ съ поникшимъ взоромъ. Глафира и мать жениха тоже стараются соблюсти правила приличія и сидятъ съ опущенными лицами. Но Фекла, замѣтно, нервничаетъ.

Павель сплевываетъ сквозь зубы и пожимаетъ плечами.

— Что-же мы можемъ дать еще? Какъ видите, я уже пожилой. Силонъ у меня немного. И взяты денегъ мнѣ неоткуда. Ну, развѣ трехрублевку, что-ли?.. Только и могу дать.

Фекла не выдерживаетъ:

— Что-жъ это, свать, ты хочешь шутить надъ нами? Гдѣ жъ это слыхано, чтобы давали въ приданое трехрублевку?

Наступаетъ неловкая минута. Тихонъ растерянно мигаетъ глазами.

Фекла съ раздраженіемъ обращается къ нему:

— Что-жъ ты молчишь? Бери шапку. Не видишь, развѣ, что мы не пришлишь имъ по сердцу...

Замѣчаніе Феклы задѣваетъ Глафиру.

— А вамъ по сердцу только тогда приходятся, когда даютъ деньги? Такъ, что-ли? А можетъ быть, мы не въ состояніи дать вамъ столько, сколько вы хотите. Вотъ и назначьте: сколько вы желаете?

Фекла порывается встать. Но Тихонъ дѣлаетъ ей молящій знакъ и родственнымъ тономъ обращается къ Глафирѣ:

— А какъ ваша невѣста намъ понравилась и какъ вы тоже намъ по сердцу, такъ я не люблю того... не люблю, то-есть, много канитель... Давайте 80 рублей, и будемъ Богу молиться.

Наступаетъ пауза. Павель сосредоточенно сосетъ трубку и выжидательно поглядываетъ на Глафиру.

— Нѣтъ, мы столько не можемъ вамъ дать. 30 рублей согласны дать,—говорить твердо и рѣшительно Глафира.

Фекла всплескиваетъ руками.

— Ахъ, ахъ!.. Какъ же это можно? У насъ единственный сынъ. Онъ такой хорошей мастеръ. Его такъ всѣ уважаютъ. Онъ получаетъ въ городѣ по пяти и по шести рублей въ недѣлю... А посмотрите, какъ онъ одѣтъ и обутъ... Какъ настоящій господинъ. И все на немъ новенькое, настоящее, какъ полагается у хорошихъ господъ. Какъ же мы можемъ взять 30 рублей приданого? Нѣтъ, мы ужъ лучше уѣдемъ домой...

— Ну, и съ Богомъ!—говорить Глафира.—Мы не въ состояніи дать вамъ больше тридцати рублей.

Фекла не унимается:

— Это намъ даже и слушать обидно... И смѣяться всѣ будутъ, ежели мы возьмемъ за нашего сына 30 рублей... Мы найдемъ для него вездѣ невѣсту.

— Помогай вамъ Богъ!

Пріѣзжіе сваты, не подавая рукъ, демонстративно удаляются изъ избы. У жениха страдальчески растерянный видъ. Но онъ подчиняется авторитету матери и, молча, слѣдуетъ за родителями.

Въ избѣ наступаетъ продолжительное молчаніе. Ситцевая занавѣска шевелится. Павелъ задумчиво сплевываетъ и говоритъ:

— А знаешь, Глаша? Женихъ, кажется, ничего себѣ. Неказистъ видомъ. Но ничего себѣ... Степенный, учтивый. И свать тоже ничего. Но сваха, видно, баба съ перцемъ.

Настасья со смѣхомъ мотаетъ головой.

— Занозистая особа...

— Ну, и Богъ съ ними!..—говорить съ досадою Глафира, какъ бы отмахиваясь отъ чего-то, и вдругъ затихаетъ.

Въ сѣняхъ слышится топотъ ногъ. Черезъ минуту въ избу входятъ смущенные сваты.

Тихонъ ласково мигаетъ глазами и подходитъ къ Павлу.

— Подумали, это, мы, сваточекъ, подумали и не хочется намъ того, то-есть, обратно ѣхать, не покончивши дѣло. Очень намъ всѣ вы понравились. Такъ давайте, сватокъ, того... поговоримъ еще. Да только того... помилѣе, то-есть. Авось, и сойдемся.

Павелъ дружески улыбается свату, привѣтливо усаживаетъ его около себя и опять пропускаетъ сквозь усы юмористическія нотки:

— Ну, что-жь? Я тоже радъ-бы породниться съ вами и выпить по случаю окончанія дѣла. Да вы такіе—несходные. Совсѣмъ меня, старика, обидѣть хотите. Вѣдь, ежели я вамъ дамъ столько приданого, такъ завтра мнѣ безпремѣнно надо идти побираться. Вѣдь, мы только недавно обстроились послѣ пожара. И самъ я старъ, и ничего не стою. Ни мѣднаго гроша не стою. Такъ только избу копчу. И держать меня для близиру больше.

Нетерпѣливая Фекла, видя, что свать опять заводитъ шутки, рѣшительно заявляетъ:

— Сваха! Давай-ка лучше мы съ тобой сами поговоримъ. Мужикамъ, вить, только-бы шутить, да трубки курить... А мы другое дѣло... Ты прибавь, сваха! А я упущу немного. Богъ дастъ, у насъ дѣло и сладится... И какъ невѣста больно пондравилась намъ и сыну нашему, то вотъ что: давайте полсотни, и конецъ. И будемъ Богу молиться.

Глафира выдерживает паузу и затѣмъ объявляетъ твердымъ, дѣловымъ тономъ:

— Вотъ вамъ мое послѣднее слово: сорокъ рублей. И больше ни копейки. И чтобъ вы все сдѣлали для невѣсты, что полагается: купили ей полсапожки съ резиновыми калошами, платокъ большой, платье ластиковое и на елку—полушелку, какъ водится...

Фекла вскрикиваетъ, какъ будто у нея внезапно заболѣли зубы.

— Ой-ой, свашенька! Да ты надъ нами смѣешься. Прибавила-то всего 10 рублей, а наговорила на 15!.. Я моей печенкой чую, что дѣло у насъ не сладится тутъ. Больше и говорить не стану. Что попусту тратить время? Прощайте!..

— Счастливой дороги!—говоритъ Глафира.

Сваты опять уходятъ. И хозяевамъ было слышно, какъ черезъ нѣкоторое время сани отѣхали отъ избы.

Глафира послала сватамъ въ догонку крѣпкое словцо и предложила смущенной Дуняшѣ пойти вмѣстѣ къ ея крестному на именины... Дуняша, по обыкновенію, отвѣтила матери согласіемъ.

Павель остался одинъ въ избѣ. Онъ прикрутилъ лампу и, мурлыча, какъ котъ, полѣзъ на полаты. Прошло около часу.

Къ избѣ кто-то подѣхалъ. Буйно залаялъ Барбось. Въ сѣняхъ послышалась возня. Кто-то шарилъ и не могъ найти дверь. Павель проснулся и насторожился. Черезъ минуту снова появились сваты.

— Поѣхали, да и заблудились. Пустите ночевать,—послышался кроткій просительный голосъ Тихона.

Павель слѣзъ съ полатей, открутилъ лампу и сразу все уразумѣлъ.

— Милости просимъ! Въ домѣ тепло. Домъ большой. Можемъ всѣхъ помѣстить.

Тихонъ, не садясь и не раздѣваясь, обратился къ Павлу:

— Но давай, сваточекъ, сначала ужъ все рѣшимъ и сдѣлаемъ все по хорошему.

Павель дипломатически пожимаетъ плечами.

— Я не знаю, какъ и быть теперь. И невѣсты нѣтъ дома, и жены нѣтъ. Онѣ въ гостяхъ.

— А нельзя-ли кого-нибудь послать за ними?

— Да всѣ ушли. И послать некого.

Гости мнутя и перешептываются.

— Сваточекъ, милый ты нашъ!—вдругъ какъ-бы запѣваетъ сладкимъ голосомъ Фекла,—сходи за невѣстой и за свашенькой. А то безъ нихъ скучно вить оставаться.

Павель одѣвается и, засопѣвъ трубкой, уходитъ.

— Ты только, сваточекъ, поскорѣе,—говоритъ ему въ догонку сваха,—а то намъ ѣхать-то далеко. И хорошо еще, какъ дѣло-то у насъ сладится.

Въ большой тесовой избѣ ивановскаго старосты сидѣли гости и пили чай. Глафира, увидѣвъ мужа, вошедшаго въ избу, весело за-смѣялась.

— Не вытерпѣлъ? Соскучился?!

— Какое тамъ «соскучился»? У насъ народу въ избѣ, почитай, не меньше, чѣмъ тутъ,—сказала многозначительно Павель и началъ здороваться съ хозяевами. Хозяева пригласили его къ столу.

— Покорно благодаримъ за честь. Но никакъ нельзя... Глаша, сваты-то опять вернулись...

— Ишь, ты ихъ ѣздіють!—сказала Глафира, какъ-бы досадуя, но въ сущности польщенная возвращеніемъ сватовъ. Дуняша зардѣлась вся и притаилась въ уголкѣ.

— Что-жь подѣлаешь?—проговорилъ Павелъ въ тонъ Глафирѣ.— Какъ-нибудь надо же рѣшать дѣло. Ждутъ тебя и Дуняшу.

Но хозяева запротестовали:

— Мы столько ждали крестницу, а теперь вы хотите ее увести. Мы ее не пустимъ. Нельзя ломать компанію. А сваты подождутъ. Дуняша ихъ дольше ждала.

Дуняша заволновалась:

— Нѣтъ, нѣтъ! Я въ другой разъ приду. А теперь, право же, нельзя оставаться.

Хозяева многозначительно переглянулись.

Дуняша пришла домой съ усиленно бившимся сердцемъ и опять, прошмыгнувъ, какъ мышь, мимо сватовъ, спряталась за занавѣской. Фекла, какъ только увидѣла Глафиру, сейчасъ же, безъ всякихъ околнностей, и приступила къ дѣлу.

— Какъ вы ужъ очень намъ понравились и какъ жениху невѣста приглянулась, такъ пусть ужъ будетъ, свашенька, ни по вашему, ни по нашему, а по Божьему: давайте 45 рублей, и дѣлу конецъ.

Глафира не сдавалась.

— Какъ я сказала давеча,—отвѣтила она съ достоинствомъ,— такъ и быть. Отъ своего слова не отказываюсь: 40 рублей. И больше ни одной полушки не прибавлю. Но, чтобы невѣстѣ все было, какъ я сказала: шаль, полсапожки съ калошами, платье ластиковое и полшелку на елку. Договоръ лучше денегъ.

Фекла горестно застонала:

— Ахъ, сваха, сваха! Этакъ и все приданое уйдетъ.

Но тутъ неожиданно поднялся женихъ и, заикаясь отъ волненія, сказалъ матери:

— Перестаньте, мамаша! Пусть будетъ по-ихнему...

Ситцевая занавѣска усиленно заколыхалась. Фекла еле сдерживала себя отъ досады.

— Послѣ этого, какъ хотите, такъ и дѣлайте. Я послѣ этого и говорить больше не стану.

Наступила томительная пауза. Тихонъ откашлялся и, ласково мигая глазами, сказалъ:

— Давайте ужъ, пожалуйста, сваточки, поговоримъ того... по-Божьему, то-есть. Какъ водится между православными. Пускай ужъ будетъ по вашему: 40 рублей—такъ 40 рублей. Но и вы должны сдѣлать для нашихъ родственниковъ подарки. У меня есть папаша старичекъ, то-есть жениховъ дѣдушка. Ему нужно подарить на рубашку. Нужно дѣдушку уважить.

— Ну, что-жь? Мы дѣдушку обдаримъ,—сказала уступчивая Глафира, довольная одержанной побѣдой надъ Феклой.

Но Фекла уловила нотку уступчивости и рѣшила воспользоваться моментомъ:

— Есть у насъ еще дѣвочка и мальчикъ,—сказала она,—нужно и ихъ обдарить. Есть еще и тетушка, она живетъ въ городѣ...

Но Глафира оборвала біографію тетушки.

— Ужъ вы наговорите цѣлую гору. Всѣхъ не одаришь. У насъ и безъ того будутъ большіе расходы.

Тихонъ пробуетъ умиловить Глафиру:

— Да, вѣдь, тутъ, свашенька, расходы не Богъ вѣсть какіе будутъ. А обида можетъ произойти большая, если не уважить родственниковъ. Наше село большое. Всѣ придутъ на свадьбу. Такъ мы ужъ лучше невѣсту пощедрѣе отдаримъ за ея подарки. Но чтобъ и вы сдѣлали всѣмъ подарки, и чтобы все было, свашенька, по-хорошему, какъ слѣдуетъ.

Павель эффектно сплевываетъ и машетъ рукой.

— Ну, Глаша, не стоитъ изъ-за такихъ пустяковъ и канителиться.

На лицѣ Феклы появляется сіяніе. Но женихъ портитъ освѣщеніе. Онъ вдругъ заявляетъ, что все приобрѣтеть для невѣсты, что желаютъ ея родители. Фекла багровѣетъ отъ досады.

— Васька, да ты не сдурѣлъ? Зачѣмъ же ты еще и резиновые калоши покупать будешь, коли мы и такъ мало взяли приданого? Нѣтъ, нѣтъ, какъ хотите! А я не согласна покупать резиновые калоши.

— Ахъ, мамаша! Никто васъ и не заставляетъ покупать калоши. Я самъ куплю. Ну, о чемъ вы спорите?

— Значитъ, матери и слова нельзя сказать? И слушать ее не хочешь? На что тебѣ мать теперь?

— Ахъ, Господи, мамаша! Изъ-за какихъ-нибудь двухъ рублей вы опять дѣло задерживаете. И столько разъ изъ-за васъ назадъ ворочались.

Но Фекла не сдастся, а переноситъ вопросъ на то обстоятельство, какъ благодарны должны быть Ворошиловы, что у нихъ будетъ такой замѣчательный зять.

— Вы посмотрите,—говоритъ съ увлеченіемъ Фекла,—посмотрите на моего сына: какіе у него сапоги! Они дорогіе, какъ у господъ. И посмотрите, какой у него тулупъ! Настоящій, а не какой-нибудь, какъ у другихъ. А какая одежда у невѣсты, мы не знаемъ.

Глафира выходитъ изъ горницы и черезъ минуту возвращается съ поношенной овечьей шубой.

— Вотъ какая у невѣсты шуба.

Фекла мѣняется въ лицѣ.

— Ахъ, батюшки мои! Да что же это такое? Да у насъ на селѣ ни одна баба въ такой шубѣ не покажется на улицу. Посмотрите: на ней тутъ и грязь, и мука...

— А что-жъ дѣлать?—говоритъ Глафира съ особеннымъ выраженіемъ въ лицѣ.—Вѣдь, ты знаешь, сколько у насъ скотины на дворѣ? 10 головъ. Какъ тутъ не запачкать шубы?

Но Фекла не можетъ придти въ себя.

— Ахъ, ахъ! Я-бы такой шубы ни за что не надѣла.

— А я надѣваю,—подчеркивающе говоритъ Глафира.—Не стыжусь. Вотъ и завтра: надѣну эту шубу, запрягу своего Воронка въ саночки съ подрѣзами и поѣду въ городъ...

И, насладившись произведеннымъ эффектомъ, Глафира улыбается.

— Ты, сваха, и взаправду подумала, что мы невѣсту въ такой шубѣ отдадимъ вамъ? Павель, покажи имъ Дуняшину шубу.

Павель приноситъ изъ кладовой новую женскую шубку на бѣлицемъ мѣху и бережно кладетъ на столъ.

— Въ Москвѣ 50 рубликовъ заплатили,—заявляетъ Глафира. У Феклы загораются глаза. Она приближается къ столу и тща-

тельно осматриваетъ шубку, поворачивая ее и такъ и этакъ. Нѣтъ-ли какого изьяна?

— Вася, посмотри ты на шубу. Шуба-то, кажется, ничего. Только воротникъ вотъ, какъ будто, не настоящій, не чистый какой-то.

— Вы, мамаша, ничего не понимаете въ этихъ предметахъ,—говоритъ тономъ знатока женихъ.—Это кунскій воротникъ. Изъ Сибири. Оттого у него и видъ такой.

Фекла удовлетворяется объясненіемъ сына, но желаетъ посмотреть и другія невѣстины вещи.

— У насъ, на селѣ,—говоритъ она,—ходятъ лѣтомъ молодайки въ майскихъ накидкахъ. Есть у невѣсты накидка?

— Еще-бы у ней накидки не было?—говоритъ Павелъ и приноситъ накидку, затѣмъ одно платье, потомъ другое, третье и т. д.

Послѣ тщательнаго осмотра всѣхъ вещей Фекла съ просіявшимъ лицомъ обращается къ Глафирѣ:

— Ну, я больше, свашенька, и спрашивать не буду. У васъ все въ порядкѣ.

— Тогда и толковать больше не о чемъ,—говоритъ съ ласковой улыбкой Тихонъ, подталкиваемый сыномъ.—Давайте Богу молиться. Хозяева переглядываются и выражаютъ согласіе.

Проходитъ нѣсколько минутъ. У иконы зажигается лампадка, невѣсту и жениха ставятъ рядомъ и благословляютъ иконой.

Дуняша, согласно этикету, сейчасъ же послѣ благословенія, начала горестно всхлипать. Такъ-де ей больно и тяжело, что придется покинуть родительскій домъ.

Павелъ, невзирая на позднее время и поднявшуюся метель, быстро слеталъ къ сапожнику, тайно торговавшему виномъ, и принесъ штофъ водки. Женщины засуетились съ закуской и самоваромъ.

Черезъ нѣкоторое время Глафира, усадивъ Феклу на почетное мѣсто, радушно говорила ей:

— Кушайте, свашенька, кушайте безъ стѣсненія. Грѣйтесь у насъ. Вѣхали далеко!

— Спасибо, свашенька милая, — отвѣчала Фекла въ тонъ Глафирѣ.—Я совсѣмъ не уважаю водки. А для васъ выпью, свашенька! Такъ ужъ вы намъ полюбились...

— Спасибо, свашенька! Кушайте на здоровье.

Тихонъ все ласково подмигивалъ Феклѣ и говорилъ, какъ-бы отвѣчая на ея таинственные знаки:

— Ну, ничего, что засидѣлись! За то, слава Тебѣ, Господи, дѣло-то со сваточками хорошо сладили. И все у насъ, Богъ дастъ, и впередъ будетъ... того... по-хорошему, то-есть...

Только на разсвѣтѣ уѣхали сваты. Но Дуняша долго не могла заснуть. Она все думала о предстоящей ей новой жизни. И сердце у Дуняши то сладко замирало, то трепетно билось, какъ у вылетающей изъ клѣтки птички.

П. Сергѣенко.



ВАСИЛЬКИ.

Къ светлой дымкѣ воздушнаго платья
Голубые такъ шли васильки!
Губъ влюбленныхъ не могъ оторвать я
Отъ твоей нѣжно-смуглой руки.

Мнѣ казались глаза твои бездной;
Въ нихъ прочелъ я при блескѣ зарницъ
Отраженье мечты многозвѣздной
Подъ пушистымъ навѣсомъ рѣсниць.

Ты склонилась фигурою гибкой,
Прошептала неясный намекъ.
Для меня отколола съ улыбкой
Отъ груди голубой василекъ.

Невозможную грезой волнуемъ,
Въ неразсказанно-сладкой тоскѣ,
Долгимъ, долгимъ припалъ поцѣлуемъ
Я къ твоей нѣжно-смуглой рукѣ!

Георгій Дежкинъ.





Ночные звоны.

Разсказъ Аркадія Селиванова.

I.

Никаноръ Демидовичъ умиралъ долго и не торопясь. И то сказать,—отъ большихъ тысячъ, изъ собственнаго каменнаго дома, кому же хочется въ сырую могилу? Сосѣдній гробовщикъ сапоги износилъ, ходивши и утромъ и вечеромъ за справками къ дворнику. А всѣ домашніе прямо извелись. Третьи сутки лежитъ, не открывая глазъ и безсловесный, пищи и воды не принимаетъ, только хрипитъ.

Монашенка изъ подворья, мать Юліанія, давно уже на кухнѣ сидитъ, пьетъ чай и закусываетъ. И узелокъ съ псалтырью и желтыми свѣчками лежитъ неподалеку, а кто знаетъ, скоро-ли еще онъ понадобится? Докторъ еще вчера поутру сказалъ, что больной безнадежный, да, вѣдь, докторамъ-то повѣрять, тоже...

Экономка Мироновна которую ночь уже не спитъ, все думаетъ: «Хорошо, какъ не встанетъ... Хорошо, если это уже конецъ... А что, если и докторъ вретъ, и гробовщикъ понапрасну ходитъ? Всѣ ключи у нея, вчера еще изъ-подъ подушки больного достала, все теперь въ ея власти, да какъ-бы не было повороту. Помнитъ она такой-же случай: года три тому назадъ вотъ такъ-же слегъ Никаноръ Демидовичъ, тоже не пилъ, не ѣлъ, и тоже два доктора ѣздили и рукой махнули, а онъ черезъ недѣлю и всталъ. Похудѣлъ, да пожелтѣлъ, да еще злющій сталъ вдвое, только и всего... И полный отчетъ потребовалъ, до послѣдней копейки, и старшаго дворника прогналъ. Да. Вотъ и дѣвченка тоже: сидитъ у себя, книжку читаетъ, а уши поди наострила, слушаетъ. Какъ бабы завоютъ, такъ она и выскочитъ, а уже при ней какая же работа. Даромъ, что тихоня, а знаетъ, гдѣ и что... И опять же—наслѣдница...»

Мироновна кривитъ въ усмѣшку тонкія губы и снова думаетъ и вздыхаетъ такъ протяжно и громко, что мать Юліанія спѣшитъ утѣшить:

— Никто, какъ Богъ, Его воля... Никто бо не вѣсть ни дня, ни...

— Ладно уже...—перебиваетъ ее Мироновна.—То-то и оно: не вѣсть!.. Вамъ-бы, матушка, спать пора... Ложились-бы съ Богомъ, а въ случаѣ чего—разбудимъ. Ваше отъ васъ не уйдетъ...

Мироновна, сердито хлопнувъ дверью, выходитъ изъ кухни. Едва слышно шуршатъ по паркету войлочныя туфли, и въ полутемныхъ комнатахъ, освѣщенныхъ одинокими лампадками, медленно движется длинная тѣнь высокой и худой старухи.

У притворенныхъ дверейъ въ спальню Никанора Демидовича Мироновна останавливается и слушаетъ. Въ груди и горлѣ Никанора Демидовича попрежнему хрипитъ и булькаетъ. Въ щелку двери видна широкая кровать и огромное тучное тѣло больного, закрытое шерстянымъ полосатымъ одѣяломъ. На смятой подушкѣ тускло блеститъ лысина Никанора Демидовича. Глаза его закрыты, и прямо въ потолокъ уставилась съдая, всклокоченная борода и длинный, заострившійся клювомъ носъ.

Смотритъ Мироновна на хозяина и слушаетъ хрипы его, словно по нимъ разгадаетъ она свою загадку: встанетъ или не встанетъ?

II.

«— Мнѣ страшно... Ваши глаза, маркизь, ослѣпляютъ меня своимъ блескомъ... Заклинаю васъ Мадонной, пощадите меня!

— А вы меня щадили? Въ вашемъ сердцѣ нашлась-ли хотя капля состраданія?..

— Ахъ!..

Графиня Эльвира, болѣе блѣдная, чѣмъ ея батистовый пеньюаръ, въ изнеможеніи падаетъ въ глубокое кресло и опускаетъ на глаза длинныя шелковыя рѣсницы.

Маркизь однимъ прыжкомъ эластичнаго тигра подскакиваетъ къ окну, въ теченіе секунды пристально всматривается въ ночной мракъ и дѣлаетъ рукой быстрый, какъ молнія, знакъ своимъ сообщникамъ. Тяжелые шаги хрустятъ по гравію и двѣ тѣни...»

Маленькая керосиновая лампочка подъ бумажнымъ абажуромъ гаснетъ. Сливаются буквы, и путаются строчки романа. Оѣня треть покраснѣвшіе глаза и сердито дуетъ въ стекло лампы. Длинная и узкая, какъ вагонъ трамвая, комната теперь освѣщена лишь маленькимъ красноватымъ огонькомъ лампадки и узенькой полоской свѣта изъ топящейся въ углу круглой печки.

Оѣня потягивается, зѣваетъ и ложится ничкомъ на кровать, уткнувшись носомъ въ подушку и выставивъ острые локти. Худенькая, узкоплечая дѣвочка, мало подвижная для своихъ пятнадцати лѣтъ, печальна и молчалива, какъ все въ этомъ домѣ.

Приподнявъ голову, Оѣня смотритъ, не мигая, на огонекъ лампадки и въ маленькой головѣ, подъ русой жиденькой косой, лѣниво, какъ сытые тараканы, ползаютъ скучныя мысли:

«Сегодня суббота, значитъ, завтра можно спать хоть до обѣда. Дяденька боленъ и въ церковь не потащить... Утромъ завтра, какъ всегда, пріѣдетъ докторъ Миллеръ. Суровый, длинный, въ очкахъ... Брюнетъ съ жесткой бородой съ просѣдью... На кого-то онъ похожъ? Если-бы не очки, то, пожалуй, на испанскаго короля Филиппа... Особенно, когда въ шубѣ на распашку... А дяденька все болѣетъ... Можетъ быть, помретъ скоро... Будутъ читать монашенки, пѣтъ панихиды. Народу разнаго наберется въ комнаты, накадятъ ладаномъ... Потомъ повезутъ на кладбище. Всѣ поѣдутъ въ каретахъ... Оттуда къ кухмистеру, къ тому же, на площадь, гдѣ и бабушку поминали. Зима теперь, холодно въ могилѣ-то... «Всѣ тамъ будемъ»...—говоритъ мать Юліанія...»

Тихонько скрипнувъ, распахивается дверь, и въ комнату заглядываетъ кухарка Васса.

— Гдѣ ты? Спишь, что-ли? Иди ужинать.

Оѣня повертывается на бокъ и, подумавъ, отвѣчаетъ:

— Не хочу я. Ужинайте безъ меня!..

— Что-же ты въ потемкахъ-то?
— Керосинъ весь... Налей, пожалуйста.
Васса беретъ лампу, вздыхаетъ и ворчитъ:
— Вотъ ужъ ненапасная... Словно ты пьешь керосинъ-то? Вчера наливала... Охъ!.. Спровѣдала-бы дяденьку-то... Плохо ему.
Өеня досадливо дергаетъ худымъ плечомъ и садится на кровать.
— Чтò я помогу? Я не докторъ.
— Ну, все же ты племянница... Одинъ, вѣдь, онъ... Вся родня въ тебѣ.

— Господи!..—Өеня хруститъ тоненькими пальчиками.—Оставьте вы меня въ покоѣ.. На что я нужна? Вѣдь, дяденька все равно никого не узнаетъ.

— А все же... Люди скажутъ, что...

Өеня вскакиваетъ съ кровати.

— Какіе люди? Гдѣ они? Ты, да мать Юліанія... Да еще эта... крыса, ябеда?

— А ну тебя!.. Ученая больно... Сиди тутъ...

Васса сердито машетъ рукой и уходитъ, шмыгая теплыми вальными сапогами.

Снова скрипитъ дверь, и снова Өеня одна въ полумракѣ. Тоненькая фигурка быстро двигается по комнатѣ между дверью и окномъ. Злобно кривятся блѣдныя губы Өени. Она кусаетъ ихъ и шепчетъ:

— Все она! Все—она, ехидна... Нѣкого уже мутить. Нѣкому сплетничать. Лежитъ уже онъ, не слышитъ, такъ Вассу подсылаетъ... Люди скажутъ! За собой-бы смотрѣла лучше. Всѣ-ли сундуки обшарила? Ябеда, жаба старая, воровка!..

Өенѣ хочется заплакать, мучительно хочется сломать что-нибудь, разбить, завизжать, закричать дикимъ голосомъ на всю квартиру... Она подбѣгаетъ къ столу, и новенькій черный карандашъ съ трескомъ ломается пополамъ и летитъ въ уголь.

Васса приноситъ лампу, долго чиркаетъ спичками и зажигаетъ. Потомъ подходитъ къ печкѣ въ углу, кряхтя присѣдаетъ на корточки и долго ворочаетъ кочергой толстыя, ярко-красныя полѣнья. Лицо у Вассы становится малиновымъ, и поблескиваетъ кончикъ носа. Өеня снова ложится на кровать лицомъ къ стѣнкѣ.

Васса съ минуту молча глядитъ на узенькую спину Өени, на коричневую ленточку въ ея косѣ и снова вздыхаетъ, колыхая жирной грудью.

— Поѣла-бы чего... Я супъ разогрѣла... Можетъ, яиць отварить? Кто его знаетъ, какой твой жеребій? Помретъ если, куда пойдешь? Можетъ, и безъ куса насидишься...

Өеня не отвѣчаетъ. Вцѣпилась зубами въ подушку и молчитъ.

— Хорошо, какъ отпишетъ тебѣ въ духовной-то... А не то, куда сунешься? Жила-бы покойница бабушка... О-хо-хо!.. Кто сиротѣ свой? Кто уму-разуму научить?

— Уйди ты, ради Бога!..—кричитъ Өеня.—Что я вамъ сдѣлала? Господи!..

— Шш...—Васса испуганно машетъ руками.—Что ты? Сдурѣла? Дяденька кончается, а ты орешь. Скажи на милость, и слова нельзя молвить... Мамзель какая, нервы у насъ... Оставайся, коли такъ, торчи одна, пока не выгнали на улицу... Тоже!..

Васса фыркаетъ, какъ жирный сердитый котъ, и уходитъ въ кухню.

Оеня, сжавшись въ комочекъ, тихонько плачетъ. Въ сосѣдней комнатѣ бьютъ часы, и девять тяжелыхъ ударовъ звучать громко и протяжно, точно ночью, на пустынной площади.

Наплакавшись до скуки, Оеня встаетъ съ кровати, садится къ столу и подвигаетъ къ себѣ толстую, растрепанную книгу. Узенькая впалая грудь еще вздрагиваетъ, и покраснѣвшіе глаза Оени еще роняютъ послѣднія слезинки, но вотъ они уже бѣгаютъ по чернымъ строчкамъ и единственный другъ ея, — романъ безымяннаго автора, — дѣлаетъ свое дѣло.

Оени уже нѣтъ въ этой комнаткѣ, она уже далеко, вмѣстѣ съ бѣдной Эльвирой, на темной ночной дорогѣ, у стѣны стараго замка...

«...Черный, наглухо закрытый экипажъ маркиза, запряженный парой рѣзвыхъ чистокровныхъ коней, мчался, какъ бѣшеный, по темной дорогѣ. Косматая туча закрывала звѣзды, и ночной вѣтеръ, глухо завывая, качалъ вѣтвями столѣтнихъ каштановъ. Безмолвный кучеръ, вооруженный длиннымъ бичемъ, стегалъ лошадей, и безъ того уже летящихъ точно отъ погони.

Внутри кареты, на мягкихъ темно-фіолетовыхъ подушкахъ раскинулось безжизненное тѣло графини Эльвиры. Стройная фигура несчастной женщины казалась бѣлой лиліей, смятой и брошенной ураганомъ жизни.

Эльвира все еще была въ обморокѣ. И, если-бы не едва примѣтныя колебанія высокой груди, маркизъ могъ-бы подумать, что онъ везетъ уже только холодный трупъ, только прекрасные останки измученной графини. Глаза маркиза пронизывали ночной мракъ и, съ невыразимой лаской, скользили по прекраснымъ, мраморнымъ чертамъ его добычи.

— Эльвира! — шептала онъ, — моя теперь, навѣки!.. Велика моя вина передъ тобой, но и бездонно раскаяніе...

А карета, качаясь, какъ корабль въ бурю, мчалась все впередъ, впередъ... Навстрѣчу весеннему утру, навстрѣчу счастью...»

III.

Въ десятомъ часу вечера пришелъ старшій приказчикъ Матвѣй Григорьевичъ и принесъ ключи отъ лабаза. Низенькій сухой старичекъ, съ рѣдкой бороденкой на желтомъ лицѣ, какъ всегда передалъ ключи Мироновнѣ, и прежде, чѣмъ затвориться въ своей комнаткѣ около кухни, съ порога обернулся и, не глядя на экономку, спросилъ тихо:

— Ну?

Мироновна кашлянула и такъ-же тихо отвѣтила:

— Все то же. Хрипитъ. Сходи уже самъ-то... Погляди.

— Ладно. Ужо, обогрѣюсь.

Изъ кухни выглянула Васса, и Матвѣй Григорьевичъ весело улыбнулся:

— Чайкомъ-бы угостили, Васса Миколавна. Озябъ я...

— Пройдите въ кухню. Самоваръ васъ дожидается, кипѣлъ, кипѣлъ...

— Задержался я сегодня. Народишко все... Да и опять-же безъ хозяина...

— То-то...—Васса громко вздохнула.—Плохъ хозяинъ-то... По всему видать, не жилецъ онъ больше...

— Каркай еще, каркай!.. Глядѣла-бы за самоваромъ-то...— окрысилась Мироновна и, позванивая ключами, поплыла къ больному.

— Отъ слова не станется...—проворчала Васса, а Матвѣй Григорьичъ поглядѣлъ эконоmkѣ во-слѣдъ и лукаво подмигнуль Вассѣ:
— Убивается горемычная... Хи-хи!..

Васса тихонько прыснула и закрыла ротъ ладонью. Матвѣй Григорьичъ ткнулъ ее въ толстый животъ указательнымъ пальцемъ и пошелъ пить чай.

Сидѣвшая въ кухнѣ около самовара мать Юліанія, при входѣ Матвѣя Григорьича встала, отряхнула съ груди крошки ситника и поклонилась въ поясъ.

— А,—кивнулъ онъ.—Караулите? Ну, ну... Наливайте, Васса Миколавна.

Двѣ первыхъ чашки онъ выпилъ въ сосредоточенномъ молчаніи, а за третьей обтеръ ладонью сѣдые усы и прищурился на монашенку.

— Вотъ-съ, теперь у насъ постъ, и, къ тому же, званіе ваше иноческое, а вы, матушка, какъ я ни погляжу,—все чай пьете.

Мать Юліанія смиренно опустила глаза:

— Всякъ злакъ на потребу...

— Всякъ-ли? Чай-то гдѣ растеть? Въ Китаѣ. Китайцы его и сѣдятъ и собирають, а китайцы—нѣхристи. Они въ Будду вѣруютъ. Есть такой, фарфоровый... То-то... Наливайте-ка, Васса Миколавна... Н-да. Погляжу я на васъ, матушка,—легкая ваша профессія... Лампадочку затеплить, читей-миней почитать, чайку попить... Не то, что мы, грѣшныя: день-денской на ногахъ, да еще и на стужѣ...

— Каждому свое...

— Свое. Гм... А можетъ, я не хуже вашего сумѣю по покойникамъ-то читать... Можетъ, я внутри-то самый покаянный человекъ? А только, съ мальчѣнокъ еще не къ тому приставлень.

Тонкія губы монашенки кривятся въ усмѣшку:

— А коли такъ,—вы и шли-бы въ обитель. Никогда не поздно. О-хо-хо... Пустословіе одно. Прости васъ Господи!.. Пойду-ка я къ болящему...

IV.

Въ спаленкѣ Никанора Демидовича тѣсно и душно, но свѣтло. Всѣ стѣны до потолка увѣшаны образами. Старые темные лики угодниковъ глядятъ изъ тяжелыхъ кіотовъ, изъ-подъ кованныхъ, золоченыхъ окладовъ. И передъ каждой иконой горить по лампадкѣ. Среди нихъ есть и неугасимыя. Наблюдаетъ за ними старая Мироновна, утромъ и на ночь оправляетъ ихъ, подливаетъ масла, снимаетъ нагаръ и кладетъ передъ ними земные поклоны. Ей одной довѣрилъ Никаноръ Демидовичъ свою «часовенку», и нѣтъ сюда доступа никому, ни кухаркѣ, ни Ѳенѣ.

Два старыхъ темно-красныхъ комода прижались въ уголъ около кровати, гордо выпятивъ свои круглые животы. Одинъ изъ комодовъ съ секретными замками и съ колокольчиками внутри. Весело звенятъ они, когда выдвигаются глубокіе ящики, и весело становится хозяину: доверху набиты ящики разноцвѣтными бумагами, большими и поменьше, то мягкими, то хрустящими. Часто, затворившись въ своей «часовенкѣ», Никаноръ Демидовичъ беретъ длинныя ржавыя ножницы и отрѣзаетъ отъ бумагъ купоны... Синіе, зеленые и розовые цвѣточки на деревѣ земного благополучія. Собираетъ онъ жатву свою, посѣянную за долгую жизнь и политую слезами, своими и чужими.

Нѣ, вотъ, уже вторая недѣля идетъ, какъ бездѣйствуютъ ножницы

Никанора Демидовича. Лежить онъ сейчасъ безъ движенія, длинный и желтый. Еще суровѣе лицо, еще строже, чѣмъ всегда, сдвинуты косматыя брови.

Тихо дремлетъ Никаноръ Демидовичъ, не хрипитъ уже, да, кажется, и не дышитъ. Снится ему послѣдній сонъ, но уже не рассказать онъ его поутру старой Мироновнѣ... А та уже стоитъ на порогѣ его спальни, и изъ-за ея плеча глядятъ на хозяина острые глазки Матвѣя Григорьича.

— Кажись, уснулъ,—шепчетъ Мироновна.

Матвѣй Григорьичъ шагнулъ впередъ, наклонился надъ кроватью, послушалъ, потрогалъ хозяйскую руку и обернулся къ Мироновнѣ:

— Шабашъ!..—сказалъ онъ.—Преставился. Царствіе небесное...

Трижды перекрестился на иконы, опустилсѣ на колѣни и тихонько стукнулъ лбомъ въ зеленый коврикъ у кровати.

— Ну-съ?—спросилъ онъ, вставая,—ключи у тебя?

Въ рукѣ Мироновны тихонько звякнула связка ключей.

— Ладно,—сказалъ Матвѣй Григорьичъ.

— Притвори-ка дверь...

V.

Глаза у Ѳени покраснѣли и болятъ, затекла нога, но спать ей не хочется. Книга не пускаетъ. Лизнувъ указательный палецъ, Ѳеня переворачиваетъ страницу.

« — Это бесполезно...—сказала графиня.—Клянусь вамъ,—я никогда не стану вашей... Раньше убью себя!

Маркизь съ дьявольской улыбкой пожалъ плечами.

— Не забывайте, что у меня есть могучій союзникъ — время. Остынетъ вашъ гнѣвъ, высохнутъ слезы и... ваша молодость и моя безграничная любовь—возьмутъ свое.

— Никогда!

Грудь Эльвиры высоко вздымается, и въ прекрасныхъ глазахъ ея леденящее презрѣніе...

Ѳеня отрывается отъ книги, подымаетъ голову и слушаетъ. Гдѣ-то вдали звенятъ маленькіе колокольчики, поютъ о чемъ-то серебряными голосками.

Ѳеня узнаетъ ихъ пѣсенку.

«Поздорбѣль... — соображаетъ она. — Всталъ, должно быть. Деньги считаетъ... Или... это...»

Подъ красными вѣками Ѳени вспыхиваетъ хитрая догадка, и губы кривятся злой усмѣшкой.

Ѳеня быстро снимаетъ башмаки и въ однихъ чулкахъ крадется по темнымъ комнатамъ къ спальнѣ Никанора Демидовича, гдѣ все еще хохочутъ маленькіе колокольчики, спрятанные въ секретномъ замкѣ пузатаго комода.

Поглядѣвъ съ минутку въ замочную скважину, Ѳеня неслышно скользитъ обратно, затворяется въ своей комнаткѣ и, улыбаясь, натягиваетъ башмаки.

— Попалась теперь вѣдьма!..—шепчетъ она. — Ужо! Разчитаюсь съ тобой, погоди! Приѣдутъ утромъ батюшки, послѣ панихиды все расскажу отцу Артамену... Ладно! Запрячутъ тебя въ тюрьму. Узнаешь!..

VI.

Стоявшая въ углу спальни, склонившись надъ маленькимъ сундучкомъ, Мироновна схватывается за голову, вскакиваетъ и спѣшить къ комоду, около котораго безпомощно топчется смущенный и испуганный Матвѣй Григорьичъ.

— Лѣзеть тоже, не спросась... Набать подн्याль... Людей тебѣ надо? Свидѣтелей мало? Не совался-бы, коли не знаешь... Задави тебя окаянная!..—шипить Мироновна, возясь съ замкомъ комода, захлопывая и выдвигая ящики.

А колокольчики, веселые, малиновые, заливаются...

— Дѣвченка не спать еще. Дошлая на пакости. Сразу смекнетъ, а завтра такого наболтаешь... Останешься доволенъ. Чортъ!..

— Кто-жъ его зналъ?—оправдывается Матвѣй Григорьичъ.— Я только руку засунуль... А ты должна-бы упредить.

Наконецъ, колокольчики умолкаютъ. Мироновна тихонько отворяетъ дверь и слушаетъ. Изъ комнаты Фени доносится шорохъ, слышны шаги, скрипитъ стулъ... Мироновна сжимаетъ кулаки и смотритъ въ упоръ на Матвѣя Григорьича. Въ круглыхъ зеленоватыхъ глазахъ старухи животная злоба, страхъ, почти безуміе. На губахъ пузырится пѣна.

— Что теперь?—хрипитъ Мироновна.—Безпремѣнно слышала... Донесетъ завтра. Какъ пить дать. Пропали наши головы... Обыскивать стануть, куда спрячешь?

— Придушить ее...—предлагаетъ Матвѣй Григорьичъ, тихо, чуть шевеля засохшими губами.

— Ну? А потомъ что? У... Осель старый! Помощничекъ!.. Ха!..

Мироновну внезапно осѣняетъ блестящая мысль. Старуха шмыгаетъ за двери и, затаивъ дыханіе, крадется по темному коридору. Простоволосая, съ всклокоченными сѣдыми космами, худая, длинная, сейчасъ она похожа на старую злую кошку...

Въ концѣ коридора Мироновна пригибается и почти ползетъ, шаря руками по полу. Чуть слышно звякаетъ чугунная вьюшка печки, и старуха на секунду замираетъ, прижавшись къ стѣнѣ. Потомъ поднимается съ полу вьюшку, шаритъ рукой по теплымъ обоямъ, находитъ дверцу и медленно, медленно, ошупью, безъ единого звука закрываетъ печную трубу...

Въ комнаткѣ Матвѣя Григорьича качается желтый огонь свѣчки, и по розовымъ обоямъ танцуютъ длинныя тѣни.

Матвѣй Григорьичъ сидитъ на кровати, крѣпко сжавъ руки, и, не спуская глазъ, смотритъ на середину стола, гдѣ неровной горкой топорщатся смятые сторублевки, выигрышные билеты и разноцвѣтныя акціи. Тутъ-же, рядомъ, искрятся два брилліантовыхъ кольца, медальонъ и горсточка золотыхъ монетъ.

Мироновна сидитъ у стола, держитъ на колѣняхъ старую енотовую шубу Матвѣя Григорьича и въ распоротую подкладку зашиваетъ пачки бумажекъ. Кривыя, дрожація пальцы плохо повинуются старухѣ. Гнется иголка, рвутся нитки...

Дня черезъ три, проводивъ стараго хозяина на кладбище и чествою помянувъ его блинками съ киселемъ, Матвѣй Григорьичъ поѣдетъ въ деревню. Давненько уже не бывалъ онъ въ родныхъ мѣстахъ. Да и старымъ костямъ пора на отдыхъ. У Матвѣя Григорьича застужены ноги, ревматизмы одолѣли, авось на вольномъ-то воздухѣ, да на лѣтнемъ солнышкѣ...

Шьет Мироновна, торопится, а рядомъ за стѣнкой, въ кухнѣ, сять двѣ праведницы: толстая Васса и мать Юліанія. Крѣпко уснула Васса и сновъ никакихъ не видитъ. По широкому потному лицу кухарки шмыгають юркіе тараканы, ситцевое одѣяло сползло на полъ, а Васса тихонько похрапываетъ и до самаго утра и не повернется...

Вотъ у монашенки сонъ легкій и чуткій. Мать Юліанія часто просыпается, охаетъ. Глядитъ въ темноту и слушаетъ. А чуть задремлетъ, сны видитъ. То будто лѣсъ шумитъ, то вдругъ бубенцы зазвенятъ, словно тройки ѣдутъ. Мать Юліанія кашляетъ, вздыхаетъ и шепчетъ молитвы...

VII.

«...Медленно тянутся скучные дни. Эльвира по цѣлымъ часамъ не отходить отъ окна своей сказочно-богатой темницы. Глядитъ на старья, покрытыя сѣдымъ мохомъ, стѣны замка, на столѣтнія деревья запущеннаго парка. Всея тоскующей душой, всѣмъ страдающимъ сердцемъ графиня далеко отсюда, въ миломъ отцовскомъ помѣстьѣ, гдѣ ждетъ ея бѣдная мать, проливающая неутѣшныя слезы. Тамъ Эльвира была веселымъ и безопаснымъ весеннимъ цвѣткомъ, тамъ родились ея первыя мечты о счастья. Увы, онѣ привели ее сюда!..»

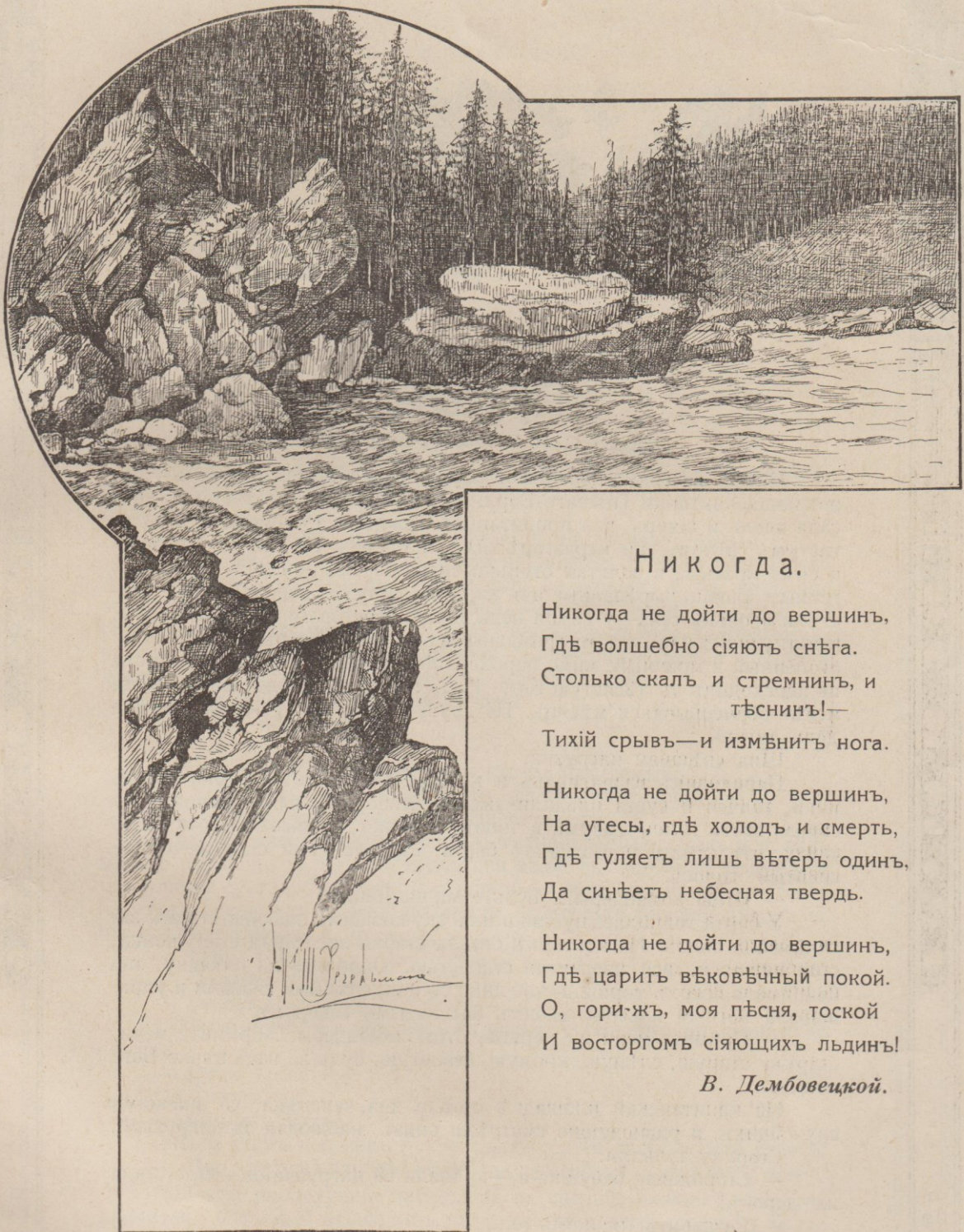
У Ѳени болитъ и слегка кружится голова. Въ маленькой комнаткѣ жарко и душно. Дѣвочка глубоко вздыхаетъ, разстегиваетъ пуговики на груди и снова склоняется надъ книгой:

«По ночамъ, когда въ высокое венеціанское окно глядятъ серебряныя звѣзды, графиня не спитъ. Неслышно скользитъ она по пушистому ковру своей тюрьмы и слушаетъ ночные шорохи, завыванья вѣтра и глухіе удары колокола на башенныхъ часахъ. Эльвира не рѣшается лечь въ свою роскошную бѣлоснѣжную постель. Не смѣетъ смежить утомленные, заплаканные глаза. Графиня чутьемъ угадываетъ замыслы дерзкаго, ослѣпленнаго страстью, маркиза. Кто знаетъ, какіе потайные ходы устроены въ этомъ средневѣковомъ замкѣ? Стоить только Эльвирѣ уснуть, какъ безъ звука откроется секретная дверь, искусно спрятанная за картиной, или зеркаломъ, и войдетъ маркизь, безумный отъ любви, пьяный отъ страсти, сильный и гибкій, какъ тигръ, не знающій пощады...»

Ѳеня откидывается на спинку стула и сжимаетъ ладонями виски. Книга и лампа тихонько уплываютъ, и передъ глазами Ѳени мелькають маленькія черныя мухи, кружатся въ бѣшеномъ вальсѣ и начинаютъ расти... Вотъ, уже не мухи, а пушистые хлопья страннаго, темно-сѣраго снѣга падаютъ съ потолка медленно, медленно...

Ѳеня дѣлаетъ надъ собой усилие, встаетъ и неровной походкой идетъ къ двери. Сердце хочетъ выскочить изъ худенькой груди и внезапно припадокъ мучительной тошноты и слабости подкашиваетъ ноги Ѳени. Она падаетъ на кровать и лежитъ, закинувъ голову, судорожно глотая душный воздухъ. Потолокъ комнаты становится розовымъ, потомъ зеленымъ... Потомъ въ потолокъ открывается маленькая дверца, и входитъ маркизь. На немъ малиновый бархатный камзолъ. Маркизь улыбается и машетъ длиннымъ гибкимъ хвостомъ. Медленно, шагъ за шагомъ онъ подвигается къ Ѳенѣ и протягиваетъ огромныя руки въ черныхъ перчаткахъ. Гдѣ-то звенятъ колокольчики, сначала тихо, потомъ все громче, громче... Кто-то положилъ на голову Ѳени большой колоколь и бьетъ въ него часто и мѣрно... Страшныя, черныя руки маркиза сжимають горло Ѳени...

Аркадій Селивановъ.



Никогда.

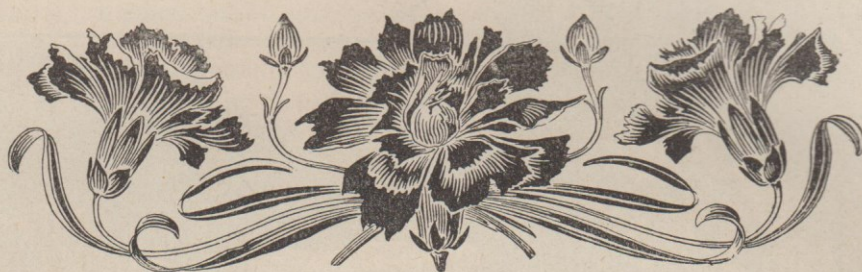
Никогда не дойти до вершинъ,
Гдѣ волшебно сіяють снѣга.
Столько скаль и стремнинъ, и
тѣснинъ!—
Тихій срывъ—и измѣнить нога.

Никогда не дойти до вершинъ,
На утесы, гдѣ холодъ и смерть,
Гдѣ гуляетъ лишь вѣтеръ одинъ,
Да синѣетъ небесная твердь.

Никогда не дойти до вершинъ,
Гдѣ царитъ вѣковѣчный покой.
О, гори-жь, моя пѣсня, тоской
И восторгомъ сіяющихъ льдинъ!

В. Дембовецкой.





Просьба.

Разсказъ С. И. Гусева-Оренбургскаго.

Поздно вечеромъ небольшой пароходикъ «Ольга» присталъ у пароходной конторки Пьянаго-Бора. Красавица Кама, серебрясь, убѣгала вдаль и вширь, вся пропитанная нѣжными тонами зари и золотистымъ свѣтомъ еще неразгорѣвшагося мѣсяца. По ней горѣли тамъ и сямъ красные и золотые огоньки сигнальныхъ фонарей, скользили темные, словно вырѣзанные изъ картона, силуэты лодокъ. Слева блестяли огоньки села—у самой воды близъ берегового бугра, который, взметнувшись надъ селомъ громаднымъ глинистымъ обрывомъ, бѣжалъ, оголенный и мрачный, мимо пароходной конторки, пока за полверсты не переходилъ въ лѣсистую гору. Надъ горою съ каждой минутой все яснѣе обрисовывался мѣсяцъ. По другую-же сторону Камы темнѣла даль луговъ.

Шла спѣшная нагрузка.

Пароходикъ вздрагивалъ и колыхался отъ сотенъ топочущихъ ногъ, толчея и суета плодили тысячи безпорядочныхъ звуковъ. Но сквозь этотъ гомонъ, шумъ и топотъ странно прорывался откуда-то снизу, отъ самага пароходнаго борта, надтреснутый старушечей басовитый голосъ:

— Отцы командеры... будьте милостивцы!

У борта толпилась публика и съ скучающимъ любопытствомъ заглядывала внизъ. На конторкѣ стояла старая-престарая старушонка, сгорбившаяся, вся изогнутая старостью. Опираясь на клюшку, она поднимала вверхъ морщинистое лицо съ полуслѣпыми глазами и упрасивала кого-то наверху своимъ басовитымъ говоромъ:

— Примите меня на корапь, отцы командеры... примите меня, старуху старую, слѣпую, хромую, безногую: буду за васъ вѣчно Бога молить!

На капитанской площадкѣ стояли два человѣка, со значками служащихъ, и равнодушно смотрѣли внизъ, наблюдая за нагрузкой. Старуху толкали.

— Сторожись, бабушка-а,—кричали ей нагрузчики,—чего стала на дорогѣ!

— Раздавятъ ящикомъ-те...

— Кишки выпустимъ!

Бородатый, добродушный грузчикъ ворчалъ, отталкивая ее:

— Аристархова дочь... возьми глаза въ руки!
Ее вертѣли, толкали.
Она отходила немного въ сторону, гдѣ было попросторнѣе, и опять поднимала вверхъ молящее лицо:

— Свѣты вы мои, отцы командеры,—басила она надтреснутымъ голосомъ, обличавшимъ молодецкую когда-то грудь,—не затѣсно я одна корापъ-то вашъ.

— Нельзя, старуха, нельзя,—сурово отвѣчали ей сверху,—сказано разъ, и не приставай... эка надоѣдная!

— Да мнѣ-бы только до Сарапула доѣхать, свѣ-ѣ-ты... а денегъ ни копейки.

Вверху молчали.

О чемъ-то тихо разговаривали.

Должно быть, старуха подумала, что это совѣщаются о ней.

— Можно, что-ли-ча?—басила она,—садитесь, что-ль?

— Отстань!—сердито звучало сверху,—не самимъ-же за тебя деньги платить.

— Да много-ль ихъ и денегъ-то,—ныла старуха,—ужъ я-бы послѣдню шаленку продала, кабы знатъе зараньше-то. А тутъ видишь дѣло какое: помирать человѣкъ!

— У васъ всегда предлогъ найдется, не сидится дома-то.

— Въ жисть я никуда съ мѣста не снималась, отцы командеры. А тутъ што-жъ подѣлаешь? Ушелъ сынъ на заработки, да, вишь ты, въ Сарапулѣ въ больницѣ и лежитъ,—письмо пишетъ:—мамынька родима, приѣзжай, помираю... душа, баеть, съ тѣломъ разстается, проститься передъ кончиной хочеть. Скончаніе подошло соколику моему. А онъ у меня, вѣдь, одинъ... сыночекъ-то!

Въ ея голосѣ слышались слезы:

— Отцы командеры...

Вверху молчали.

Откуда-то снизу проговорилъ кто-то невидимый:

— Кончаютъ, ваше благородіе, десять мѣстъ осталось.

— Второй!—негромко прозвучало сверху.

Тонкимъ дискантикомъ пропѣлъ сигнальный колоколь и вслѣдъ затѣмъ пароходъ гулко прогудѣлъ два раза. На конторкѣ поднялась торопливая суетня. Пассажиры спѣшили на пароходъ и стлкнувались на узкихъ сходняхъ съ носильщиками. Крючники бѣжали бѣгомъ съ послѣдними тюками и кричали:

— Гей... гой!

— Сторони-и-сь!

— Старуха, отойди...

Старуха, кряхтя и опираясь на палку, съ трудомъ опустилась на колѣни.

— Отцы команде-е-ры...

Она плакала.

— Сми-и-луйтесь!

Сквозь шумъ и гомонъ нудно слышался ея дребезжащій голосъ:

— Допустите на корापъ! Не застану я сынка-то... свѣ-ѣ-ты мои-и!

Публика равнодушно наблюдала за сценой, ожидая, чѣмъ это кончится. Угрюмый мѣщанинъ въ мохнатой шапкѣ стоялъ у борта рядомъ съ толстымъ купцомъ, и, сочувственно покачивая головой, тихо говорилъ:

— Денежка, денежка... всѣхъ-то она любить, только не нашего брата, голяка.

Онъ взглянулъ на купца.

— Лучше-бы, ничѣмъ нищему подать, старухѣ этой помочь.

Купецъ погладилъ бороду и сурово отвѣтилъ:

— Будешь нищихъ на свой счетъ по пароходамъ возить, самъ пѣшкомъ находишься!

Мѣщанинъ мрачно покосился на купца и, отвернувшись, брезгливо проговорилъ:

— Пузо!

Изящная барынька, проходившая по палубѣ, граціозно опираясь на руку солиднаго господина съ гордо закрученными вверхъ усами, нѣжно спросила его:

— Пьеръ, чего это просить тамъ внизу старушка у капитана?

Онъ, любуясь панорамой рѣки, равнодушно отвѣчалъ:

— Попрошайка, мой другъ... или богомолка.

Они прошли дальше.

Старуха все плакала внизу.

— Милостивцы... благодѣтели... вѣчно буду за васъ Бога молить!

Сверху равнодушно звучало:

— Нельзя!

— Батюшки мои, что-жъ я буду дѣлать!—заметалась старуха,— умреть сынокъ-то, умреть безъ меня... отцы командеры!

Опять проговорилъ кто-то невидимый:

— Готово!

— Третій!—спокойно прозвучало сверху.

Пароходъ гулко прогудѣлъ три раза.

Раздалась команда:

— Убирай сходни!

Старуха метнулась къ сходнямъ.

— Куда!—грубо оттолкнулъ ее матросъ.

Пароходъ зашипѣлъ, запыхтѣлъ, бѣлая пѣна закрубилась у колесъ.

— Отцы... отцы... отцы командеры,—кричала старуха, бѣгая туда и сюда вдоль пароходнаго борта съ поднятымъ кверху лицомъ,— благодѣтели... милостивцы! Ради Христа! Батюшки... что буду дѣлать! Отцы командеры...

Повторяла съ громкимъ плачемъ:

— Ради Христа!

Ей отвѣтилъ пароходъ страшнымъ шумомъ колесъ. Вода все кипѣла тамъ внизу бѣлою пѣной. Пароходъ дрогнулъ разъ, другой... и пошелъ, все ускоряя ходъ. За нимъ, подъ лучами мѣсяца, серебрился слѣдъ широкою дорогой. Все быстрѣе убѣгалъ онъ впередъ, давая сигнальные гудки встрѣчнымъ буксирамъ. И все дальше и дальше оставалось позади село, смотрѣвшееся въ воды свѣтлаго плеса Камы, на горный обрывистый берегъ, казавшійся издали высокою горой, и—притаившаяся у подошвы его пароходная конторка съ плачущей на ней старушкой...

С. Гусевъ-Оренбургскій.





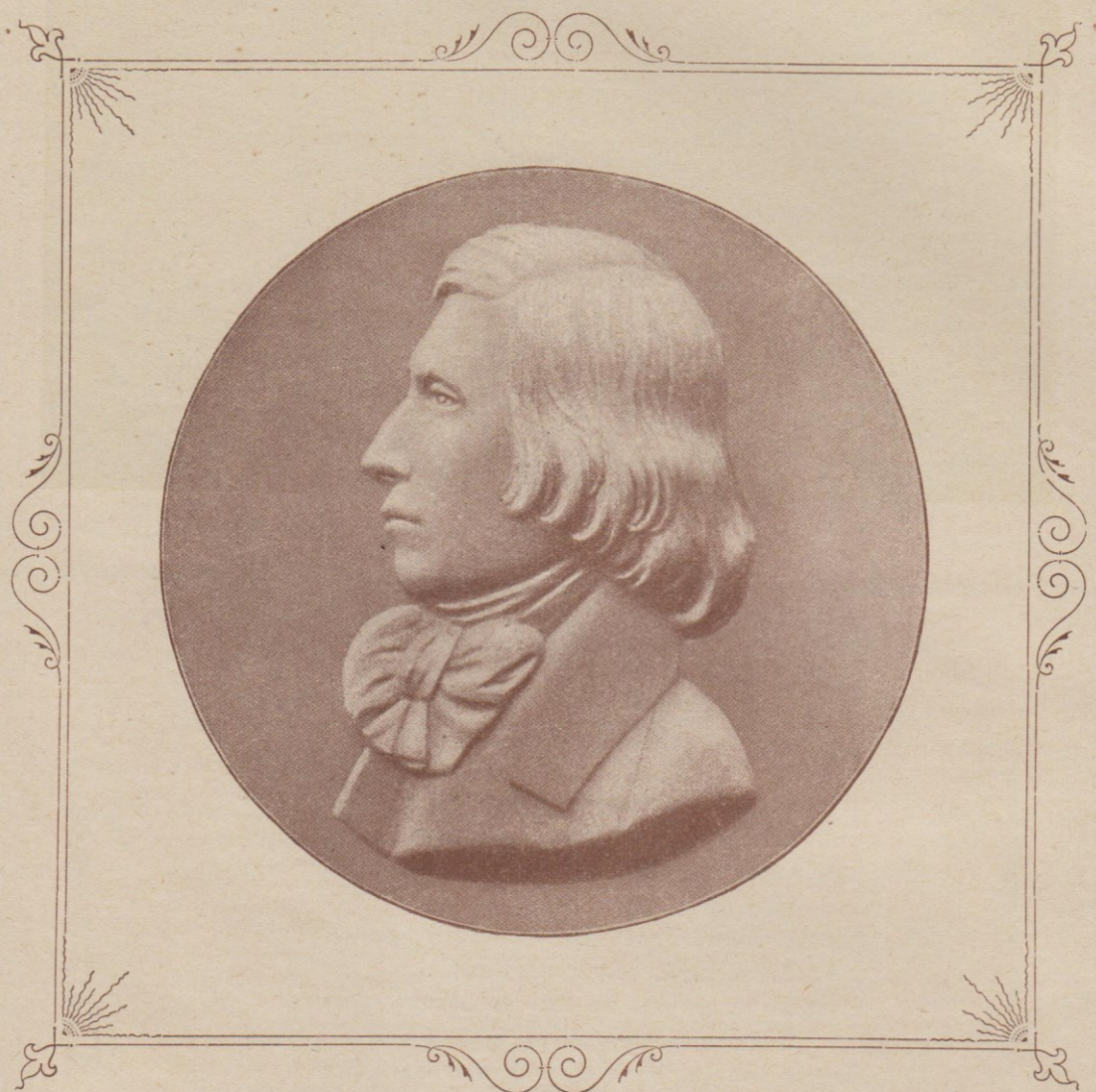
Энр. Серра.

РИМСКІЙ ПАРКЪ.

ТАЙНА ЛѢСА.

Лѣсъ тайну бережеть и пришлеца чужого
Встрѣчаетъ натискомъ вѣтвей.
Ему невѣдомы людское наше слово,
Ни гнѣвъ, ни радости людей.
По вѣковымъ стволамъ свиваются ліаны,
Какъ змѣй, зеленыя тѣла,
И такъ загадочны въ ихъ заросляхъ туманы,
Когда безлунна ночь, тускла.
Порой изъ глубины несется вой шакала,
То вдругъ какой-то дикій стонъ...
И лѣсъ тогда шумить, какъ море въ вихрѣ шквала,
Когда волна со всѣхъ сторонъ.
У лѣса есть душа. Она царить незримой,
Но другъ и братъ ей—каждый звѣрь,
И только человекъ, въ слѣпую даль гонимый,
Остался чуждъ ей и теперь.
Пришлецъ несетъ топоръ и съ нимъ свою побѣду.
На стражѣ лѣсъ, не знаетъ сна...
Чинарѣ шепчетъ букъ, та—новому сосѣду,
И тайна—вновь схоронена...

В. Умановъ-Каплуновскій.



Н. В. СТАНКЕВИЧЪ.

Извѣстный русскій литераторъ и общественный дѣятель.

Къ 75-лѣттю со дня смерти.
1840—1915.

СВѢТЛЫЙ образъ.

Очеркъ Н. Д. Носкова.

Прошлое уходитъ, но не все исчезаетъ вмѣстѣ съ нимъ безвозвратно. Такъ, чѣмъ темнѣе ночь, тѣмъ звѣзды ярче.

Въ темной ночи нашего прошлаго ярко горятъ эти звѣзды. Изъ мрака былого свѣтятъ намъ привѣтные огни—радостно-свѣтлые образы. Одинъ изъ нихъ—образъ Станкевича...

Прошли и ушли ряды поколѣній; семьдесятъ пять лѣтъ уже уплыло съ тѣхъ поръ, какъ на чужбинѣ, вдали отъ родины, въ маленькомъ городкѣ Италиі, были подведены послѣдніе счеты короткой жизни Станкевича, но до сихъ поръ еще тепло и радостью вѣетъ отъ воспоминаній о немъ и дѣйственно обаяніе той духовной красоты, которая являлась такой притягивающей силой для всѣхъ, его знавшихъ. При жизни Станкевича знали только немногіе, только тѣ, кому довелось войти въ близкое соприкосновеніе, въ контактъ съ нимъ. Черезъ этихъ немногихъ и узнали о немъ многіе, спустя десятки лѣтъ послѣ смерти Станкевича. Повѣсть своей короткой жизни, бѣдной съ фактической стороны, но богатой внутреннимъ содержаніемъ, онъ разказалъ самъ на страницахъ своей переписки съ друзьями. И до сихъ поръ нельзя безъ волненія и радостнаго трепета читать эту книгу. Не предназначенная къ печати, она, подобно перепискѣ Герцена съ Захарьиной, явилась одной изъ самыхъ яркихъ и выразительныхъ книгъ—подлинныхъ переживаній человѣческой души. Станкевичъ въ ней весь—со своимъ блестящимъ, углубленнымъ умомъ, ищущимъ познанія истины, со своей чутко-нѣжной душой, возлюбившей все прекрасное, со своими молодыми мечтами. Со стараго акварельнаго портрета на насъ смотритъ юношеское лицо. Мраморный барельефъ отражаетъ лицо того же юноши съ золотыми снами и грезами, еще не развѣянными жизнью. Кругомъ его имени все дышитъ молодостью и весною. И самъ онъ является прообразомъ той весны дальней, когда нѣсколько юношей являли все будущее Россіи, когда она только вступала въ полосу новой, человѣческой жизни.

Образъ Станкевича какъ-то несомѣстимъ съ одиночествомъ. При имени его память вызываетъ не одно лицо, а цѣлый хороводъ лицъ, сплетенныхъ и спаянныхъ въ цѣлое одного душевнаго помысла. Видится старая Москва, занесенная сугробами. Старый домъ, озаренный трепетнымъ свѣтомъ среди ночной тишины. Старый домъ—одинъ бодрствующій и не спящій, среди повальнаго сна, въ поздній часъ, до разсвѣта далекаго. Новые побѣги среди развалинъ: юная зеленая молодость, торжествующая свои пути наперерѣзъ протореннымъ, восторженно вѣрящая въ свои мечты, вобрававшая въ себя пылкія надежды, увидѣвшая свѣтлыя дали среди кромѣшной мглы. Въ этомъ юномъ кружкѣ московскихъ студентовъ Станкевичу принадлежало первое мѣсто. Онъ былъ его главой, его вдохновителемъ, источникомъ тѣхъ тихихъ радостей, которыя предъ нимъ раскрывала наука и искусство; черезъ него онъ дѣлаются вѣдомыми его друзьямъ, раздѣленными ими. Станкевичъ не былъ учителемъ друзей, но онъ былъ бесспорно признаннымъ всѣми центромъ дружескаго кружка, его основой. Черезъ него сошлись и сблизились Бѣлинскій, Бакунинъ и Боткинъ, поэты Красовъ, Клошниковъ и Константинъ Аксаковъ. «Открытіе», сдѣланное Станкевичемъ въ Воронежѣ, ввело въ кружокъ «прасола» Кольцова. Станкевичъ первый открылъ въ немъ поэта. Первая выступленія Бѣлинскаго въ печати явились выступленіями какъ-бы самого кружка, обрѣтшаго въ своей средѣ пламеннаго апостола кружковыхъ идей. Вліяніе Станкевича на членовъ его кружка несомнѣнно, хотя самъ Станкевичъ, и какъ литераторъ, и какъ ученый, оставилъ слѣдъ мень-

пшій чѣмъ кто-либо изъ друзей его юнаго кружка. Онъ явился только неудавшимся поэтомъ, драматургомъ и романистомъ. Искусство, творчество не были его областю. Писательство оказалось для него только данью юности. Это рано онъ самъ созналъ, выбравъ путь ученаго, отмежевавъ для себя область философіи. Познать истину путемъ любимой науки—вотъ, что влекло его, и въ ту пору, какъ его друзья уже широко развернули крылья для полета, Станкевичъ скромно засѣлъ въ студенческой аудиторіи германскаго университета, «съ головою бросившись въ море нѣмецкой науки». Дѣйствительность не задѣвала Станкевича. Онъ жилъ въ своемъ идеальномъ мірѣ, замыкаясь въ области науки и искусства отъ ея велѣній. Но и онъ уже созналъ, что только дѣйствительность есть поприще настоящаго сильнаго человѣка, видѣлъ въ непониманіи ея отсутствіе силы и источникъ бѣды». Въ его кружкѣ, отрѣшенномъ отъ дѣйствительности, уже зрѣлъ передовой боецъ, бросившій скоро ей вызовъ на бой; въ его кружкѣ впервые осозналъ силу Бѣлинскій, и блестяще отраженными взглядами кружка явилась знаменитая элегія въ прозѣ—«Литературныя мечтанія» Бѣлинскаго. И если-бы Станкевичъ и его кружокъ только-бы взлетѣли первые всходы генія Кольцова и Бѣлинскаго, то и одного этого было-бы достаточно, чтобы за кружкомъ и его основателемъ оставалась на вѣчныя времена признательная память потомства. Но Станкевичъ сдѣлалъ больше. Онъ явилъ собою примѣръ великой красоты душевной, въ соединеніи съ огромнымъ умомъ, дѣйствующей всегда обаятельно.

Онъ умеръ въ самую пору своихъ исканій, далекой отъ достиженія, но онъ нашелъ уже свой путь, по которому пошелъ безтрепетно. Большой, сгоравшій отъ недуга, давно подтачивавшаго его силы, борясь со злой чахоткой, онъ ищетъ исцѣленія отъ недуга на чужбинѣ, и въ то же самое время работает не покладая рукъ въ своей любимой научной области. Смерть, грозившая тѣлу, казалось, была безсильна одолѣть духъ. И смерть подошла къ нему тихо. Она внезапно оборвала нить жизни.

Современной ему Россіи онъ остался чуждымъ, и только знавшіе и любившіе его горячо оплакивали его кончину и осознали, кѣмъ онъ былъ для нихъ, кѣмъ *могъ* быть для Россіи. И лишь много позднѣе любящія руки друзей собрали воедино и повѣсть жизни его духа, и юношескія попытки его творчества, и тѣ «человѣческіе документы»—письма Станкевича къ друзьямъ,—чтобы возжечь неугасимую лампаду предъ его памятью. И только позднѣе для всей Россіи окончательно проявился ликъ этого замѣчательнаго человѣка. Это явилось тогда, когда были вполне осознаны и стали родными, близкими всѣмъ великіе таланты, вышедшіе изъ скромнаго станкевичевскаго кружка, когда стало возможнымъ свидѣтельство истины, долго тайное подъ спудомъ отреченности: «Помни, что ты знаешь о немъ, есть общее наше достояніе»,—писалъ Бѣлинскій другу по полученіи письма о кончинѣ Станкевича. «Собери всѣ мои письма къ Станкевичу для доставленія ко мнѣ». «Для меня священна собственная моя строка, которую читали его глаза».

«Никому на свѣтѣ не былъ я такъ много обязанъ: его вліяніе на меня было безконечно и благотворно. Этого, можетъ быть, кромѣ меня, никто не знаетъ», писалъ Грановскій, пораженный смертью Станкевича.

Ясно, что не рядовой человѣкъ могъ такъ увлечь и Бѣлинскаго, и Грановскаго, и вмѣстѣ съ ними, весь кружокъ, и даже, въ то время еще враждебнаго этому кружку, Герцена. Ясно, что чары обаянія, захватывавшія всѣхъ этихъ различныхъ людей, коренились во всей духовной личности Станкевича. Покоряли въ немъ не столько широкій умъ и знанія, сколько тѣсный союзъ ихъ съ широкой многообъемлющей и чуткой ко всему прекрасному душой и сердцемъ, призывно откликавшимся на зовъ красоты и добра. Станкевичъ отразилъ въ себѣ, какъ капля чистой росы отражаетъ лучи солнца, цвѣтущую юность своего поколѣнія, его стремленія, чаянія и любовь. Смерть его, такая ранняя, злая, не наложила слѣдовъ на его образъ. Онъ, какъ былъ, юный и прекрасный, такъ остался такимъ же жить въ памяти поколѣній. И отъ поколѣнія къ поколѣнію преемственно передается повѣсть о той веснѣ дальней, когда, въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія, выходила на дорогу юная, новая Россія, неся міру, въ общую сокровищницу культуры, свои великія цѣнности.

Той весны не забыть никогда.

Ник. Носковъ.



Выступление Италіи.

Очеркъ Вл. Новоселова.

Позиціи воюющихъ и нейтральныхъ государствъ обозначаются все болѣе четко. Недавно еще сокровенное становится яснымъ, расплывчатое мало-по-малу принимаетъ рельефъ. Еще медлитъ Румынія съ активнымъ выступленіемъ, еще Болгарія драпируется въ тогу нейтралитета и Греція по-купечески ведетъ торгъ съ запросомъ, но уже ясно одно: Румынія, Болгарія и Греція могутъ медлить сколько угодно, ибо не имъ, не ихъ совокупными силами возможно измѣнить стрѣлку вѣсовъ. На то онѣ и маленькія державы, чтобы медлить и гадать, къ какому берегу пристать, какъ быть, чтобы съ меньшей для себя затратой получить больше. Эти чисто меркантильныя соображенія опредѣляютъ маленькихъ людей. Они же опредѣляютъ и психику маленькихъ народовъ—маленькихъ, въ смыслѣ отсутствія у нихъ великихъ національныхъ идеаловъ.

Примѣръ первоклассной державы—Италіи—долгое время служилъ подражаніемъ и для Румыніи, и для Болгаріи и Греціи. Италія долго держалась выжидательной политики не оттого, что искала курса для своего государственнаго корабля, но потому, что развернувшіяся событія открыли вдругъ предъ ней иныя, широкія перспективы,—открыли тѣ пути, по которымъ идти она давно стремилась. Начало всѣхъ этихъ путей—возрожденія объединенной Италіи—до сихъ поръ еще не имѣетъ конца. Великой эпопеей итальянскаго объединенія все еще не достаетъ эпилога. То, что рано или поздно онъ будетъ дописанъ, въ этомъ въ Италіи никто никогда не сомнѣвался. Это являлось национальной задачей Италіи, потребовало больше полувѣка осторожной выжидательности, когда осуществленіе стало возможнымъ и близкимъ. Но для этого нуженъ былъ переходъ отъ пассивнаго ожиданія къ активному дѣйствию. Это было легко и трудно вмѣстѣ съ тѣмъ. Легко для народа, давно претворившаго идею единства Италіи въ своемъ самосознаніи; трудно для дипломатіи, полвѣка шедшей окольнымъ путемъ. Поэтому, когда итальянскій народъ требовалъ прямого вмѣшательства въ европейскія событія, дипломатія все еще медлила. И эта медлительность вполне объяснима той сложной коллизіей, въ которую событіями всѣхъ предшествующихъ лѣтъ была поставлена Италія. Она была свободна отъ династическихъ интересовъ, связывающихъ Румынію, Болгарію и Грецію съ домомъ Гогенцоллерновъ; ея короли не были ставленниками Германіи. Однако, дипломатическій союзъ связывалъ Италію съ Германіей и Австріей. Это былъ актъ правительственной мудрости, но не откликъ народныхъ думъ, симпатій и чаяній. Онъ необходимъ былъ, какъ жертва, ибо этой жертвой покупалось поддержаніе добрососѣдскихъ отношеній съ Австріей. Только такимъ путемъ, предотвращая войну, Италія покупала миръ и возможность культурнаго развитія, такъ необходимаго для молодого, самостоятельнаго государства.

Тройственный союзъ долженъ былъ поддерживать «равновѣсіе» Европы. Фактически онъ пересталъ существовать съ той минуты, когда Италія, ссылаясь на союзный договоръ, отказалась отъ всякой поддержки своихъ союзницъ въ ихъ наступательной войнѣ. Морально союзъ все-таки продолжалъ существовать. Отказъ Италіи отъ поддержки союзницъ въ войнѣ еще не знаменовалъ *полнаго* разрыва, ея выхода изъ союза. По крайней мѣрѣ, такъ хотѣли думать дипломаты Берлина и Вѣны, ибо нейтральная Италія,—Италія, бывшая союзница,—являлась лишнимъ козыремъ въ австро-германской игрѣ. Въ такомъ случаѣ Италія не противодѣйствовала-бы свободному передвиженію австрійскаго флота въ Адриатикѣ, являлась-бы питающей артеріей для Австро-Венгріи, такъ какъ послѣдняя въ нейтральной странѣ имѣла-бы близко, по сосѣдству, запасы всякихъ жизненныхъ припасовъ. Всего нѣсколько миль отдѣляетъ торговую Венецію отъ торговаго Триеста, около сотни миль перехода по Адриатическому морю раздѣляютъ итальянскіе порты отъ прибрежныхъ портовъ австро-венгерскихъ Истріи и Далмаціи. При нейтралитетѣ Италіи, Австріи на югъ приходилось-бы вести борьбу только съ одной Сербіей. Вотъ почему германская дипломатія такъ старалась удержать Италію если не въ союзѣ, то въ качествѣ нейтральной державы; даже уклоненіе Италіи отъ войны не было истолковано въ смыслѣ разрыва добрыхъ отношеній съ бывшими союзницами. И въ Вѣнѣ, и въ Берлинѣ всѣми силами стремились лишь обезпечить нейтралитетъ Италіи. Впродолженіе цѣлаго года германская дипломатія усиленно работала въ Римѣ именно въ пользу такого «благожелательнаго» нейтралитета. Работа дипломатовъ, казалось, уже дала плоды, когда все опрокинулось разомъ: и тридцать три года тройственнаго союза, и самая его идея—все пошло на смарку. Всѣ хитросплетенія дипломатическихъ

подвоховъ, интригъ и доводовъ оказались безсильными въ тотъ историческій часъ, когда просыпается народное сознаніе и самъ народъ диктуетъ свою волю.

11 мая этотъ часъ насталъ.

Италія объявила войну Австріи. Германія, не объявляя войны, перебросила войска на помощь Австріи. Двѣ союзницы противъ бывшей, третьей.

Древняя Венеція уже услышала грохотъ пушекъ, увидѣла внуковъ тѣхъ героевъ, которые пятьдесятъ пять лѣтъ назадъ шли добывать свободу и единство прекрасной Италіи, когда, словно фениксъ отъ пепла, вставала и подымалась на священную битву за свое освобожденіе вся страна отъ Тибра до Альпъ, и со всѣхъ концовъ Аппенинскаго полуострова и съ острововъ Адриатики собиралась рать гражданъ-солдатъ. Одноглавый орелъ Габсбурговъ не только когда-то держалъ въ своихъ хищныхъ когтяхъ и Миланъ, и Парму, и Мантую, и Тоскану. Онъ до сихъ поръ еще держитъ исконныя земли Италіи. Тысячи доблестныхъ патріотовъ пали жертвами австрійскаго гнета, заплатились тюрьмами, изгнаніемъ и смертью за довременныя мечты объ единствѣ раздробленной Италіи, объ ея самостоятельномъ дѣломъ. Апостолы свободы Италіи пали жертвами той гнусной реакціи, которую взрастила Австрія во время своего владычества въ Италіи, въ эпоху своего вліянія при дворахъ мелкихъ королевствъ Аппенинскаго полуострова и у престола римскаго первосвященника. Но ростки свободы все-таки взошли и окрѣпли. Король пьемонтскій, мечтавшій *завоевать* единство Италіи только при помощи солдатъ, не желавшій считаться съ силой народа, понялъ, что только съ помощью народа, культурной спайки его массъ можетъ быть проведено въ жизнь великое дѣло. И оно совершилось тогда, когда идея единства Италіи прочно вошла въ сознаніе массъ, стала ихъ лозунгомъ. Такъ было въ ту войну, когда Италія, наконецъ, обрѣла за собою право на независимость, своей политической жизни и національнаго самоопредѣленія.

Въ эту, новую, войну Италія стоитъ лицомъ къ лицу съ той же Австріей, чтобы завершить начатое, но не завершенное дѣло своего полнаго объединенія. Части живого тѣла Италіи еще до сихъ поръ брошены капризомъ судьбы и напоромъ грубой силы за предѣлы итальянской территоріи. За рубежомъ Австріи остаются цвѣтущій Триентъ (или Тренто по-итальянски въ южномъ Тиролѣ) и Триестъ, одна изъ значительныхъ гаваней Средиземнаго моря. Тамъ и тутъ звучитъ одна и та же итальянская рѣчь, тамъ и тутъ все еще носятъ города и мѣстности итальянскія имена, созвучныя, близкія душѣ итальянца. Бывшая союзница Австро-Венгріи не разъ содрогалась при видѣ новыхъ крѣпостей и фортовъ, возводимыхъ на бывшей итальянской землѣ, на случай войны Австріи съ Италіей. Дула пушекъ изъ родного Триеста давно глядѣли въ сторону родной Италіи, напоминая о грядущихъ дняхъ, когда и на триестской крѣпости взовется красно-зеленый національный флагъ, и корона савойскаго дома смѣнитъ одноглаваго орла Габсбурговъ. Въ это неуклонно вѣрится итальянскій народъ и тогда, когда дипломатія заключала и возобновляла договоръ тройственнаго союза и когда загрохоталъ громъ общевропейской войны.

Правительство могло оттянуть срокъ выступленія, но оно было безсильно идти противъ желанія всей страны, ясно сознавшей, что теперь или никогда Италія сможетъ исполнить закончить дѣло своего настоящаго единенія и полнаго освобожденія...

Такихъ ясно осознанныхъ національныхъ задачъ нѣтъ ни у Румыніи, ни у Болгаріи, ни у Греціи. Каждая изъ нихъ хочетъ лишь, съ наименьшей затратой силъ и средствъ, стать великой Румыніей, великой Болгаріей, великой Греціей, хочетъ купить титулъ, но не стать дѣйствительно великими. Примѣръ Италіи для нихъ и здѣсь особенно поучителенъ. Италія изъ второстепенной державы стала первоклассной лишь путемъ полнаго осознанія своихъ національныхъ задачъ. Онѣ ясны для нея. Она идетъ добывать съ боя то, что желаютъ купить ея младшія сосѣдки, изнемогая подъ бременемъ *вооруженнаго* нейтралитета, не зная, какъ ладья безъ руля, куда идти, въ какую сторону броситься.

Событія развертываются съ головокружительной быстротой. Всякое промедленіе подобно гибели для народовъ и правительствъ, претендующихъ на титулъ «великихъ» и не умѣющихъ разбираться въ томъ, что повелительно диктуетъ историческая необходимость. Освобожденіе отъ грубой силы, попирающей право,—вотъ, что является лозунгомъ настоящей эпохи. Середины—нѣтъ. Кто не за него—тотъ противъ него.

Вл. Новоселовъ.



Чумазый.

Очеркъ Н. Степаненко.

Честь открытія чумазаго, какъ извѣстно, принадлежитъ Щедрину; онъ первый подмѣтилъ, первый прозрѣлъ его нашествіе и съ горечью въ сердцѣ воскликнулъ:

— Идетъ чумазый, идетъ и даже пришелъ уже!

Нельзя сказать, чтобы чумазаго не было до Щедрина, — былъ онъ и раньше, какъ были, напр., Чичиковы, Ноздревы, Хлестаковы, но ихъ не замѣчали; трудно было замѣтить ихъ окомъ зауряднаго обывателя, пока не явились такіе провидцы души и сердца человѣка, какъ Гоголь, Грибоѣдовъ, Щедринъ.

Чумазый — типъ приспособляющійся, рождаемый условіями времени, тотъ именно типъ, который, какъ личинка, прилипаетъ къ дереву, къ корѣ, къ листку дерева, принимаетъ его окраску и наноситъ существенный вредъ, но замѣтить его и удалить можетъ лишь опытный глазъ.

Чумазый — язва, паразитъ на общественномъ организмѣ жизни и, какъ всякая язва, требуетъ радикальнаго и длительного леченія. Всюду проникаетъ онъ, вездѣ посѣваетъ — то бочкомъ, то ничкомъ. Нѣтъ щели, нѣтъ изъяна, куда не проникъ-бы онъ и не свиль болѣе или менѣе надежнаго гнѣзда. И потому-то вести борьбу съ нимъ нелегко; не всегда можно найти и радикальное средство на леченіе тѣхъ болячекъ и язвъ, которыми онъ пропитываетъ живой организмъ общественнаго строя и порядка.

Нюхъ у него особенный, тонкій, и шагаетъ онъ быстрыми, широкими, но осторожными шагами.

Трудно угнаться за нимъ, а еще труднѣе отличить его по наружному виду; свой обликъ, свой видъ мѣняетъ онъ, какъ хамелеонъ кожу. Было время, когда ходилъ онъ въ чуйкѣ, носилъ высокіе сапоги бураками и бутылками, а голову украшалъ «купецкимъ» картузомъ. Ходитъ онъ и сейчасъ въ чуйкѣ, но «спинжакъ» предпочитаетъ чуйкѣ; носить смокингъ и блестящій цилиндръ; обожаетъ цвѣтные жилеты; любитъ выставлять напоказъ черезъ всю грудь массивную золотую цѣпь съ брелоками и жетонами. Обыкновенно у него въ рукахъ либо тросточка, либо палка съ серебрянымъ набалдашникомъ.

Стоитъ ему поднять голову и повести носомъ, какъ онъ уже чуетъ, гдѣ и съ какой стороны «курятиной» пахнетъ.

Играетъ онъ на биржѣ, дѣлаетъ закупки овса, хлѣба, занимается экспортомъ яицъ, гусей за-границу (теперь этотъ родъ занятій по случаю войны прекратился), стоитъ за прилавкомъ и зоркимъ, опытнымъ взглядомъ окидываетъ покупателя.

Въ деревнѣ онъ прижимистъ и грубъ, въ городѣ — нѣсколько мягче, иногда даже деликатенъ. Последнее обстоятельство проявляется рѣдко и находится въ прямой и непосредственной зависимости отъ человѣка, съ которымъ ему приходится имѣть дѣло.

Случится-ли неурожай или, какъ сейчасъ, война — это для него настоящій праздникъ.

Кому горе, слезы, а для чумазаго — радость да смѣхъ.

Потираетъ онъ руки отъ удовольствія, ходитъ вокругъ да около.

— Оно, конечно... война. Народу расплодилось... Надо почиститься.

Полегонечку да помаленечку цѣны растутъ, крѣпнутъ. Нельзя же сразу! Рванешься, погорячишься, — себѣ же вредъ нанесешь.

Городскія думы таксируютъ цѣны, а чумазый и въ усь не дуетъ.

— Пушай себѣ! Безъ насъ не обойдутся.

Дѣлается натискъ, принимаются репрессивныя мѣры, — чумазый торговлю прикрываетъ.

— Мой товаръ, не чей-нибудь: что хочу, то и дѣлаю.
Великъ аппетитъ у чумазаго, жаденъ онъ въ своихъ потребностяхъ, и его примѣромъ заражается и деревенскій обыватель и даже деревенскія бабы, торгующія яйцами, молокомъ и масломъ, продающія куръ на базарѣ.

— Ты цѣны не ломай!— кричатъ онѣ на своихъ товарокъ, сбавляющихъ цѣны, и вступаютъ въ драку.

У обывателя трещить голова отъ думъ, отчего вздорожалъ такой предметъ потребления, какъ куриныя яйца,—вѣдь, яйца въ настоящее время не имѣютъ экспорта за-границу, а куры, не переставая, несутся, какъ и раньше неслись,—и приходиться къ заключенію:

— Яйца вздорожали потому, что мужикъ пересталъ водку пить, а разъ мужикъ пересталъ водку пить,—у мужика денегъ много, и дѣвать ему ихъ некуда, по этому самому и яйца вздорожали.

Къ такому рѣшенію пришла одна московская газета. Коротко и ясно!

Слушаетъ чумазый и хитро улыбается:

— Мели, Емеля,—твоя недѣля.

А обыватель стонетъ, корчится отъ боли.

Но что торгашество въ сравненіи съ тѣмъ зломъ, которое душу растлѣваетъ, вмѣсто хлѣба духовнаго даетъ камень, вмѣсто рыбы змѣю преподноситъ?

Проникъ чумазый и въ духовную сферу человѣческой жизни, орудуетъ и здѣсь не менѣе, если только не болѣе успѣшно, чѣмъ на биржѣ, у себя за прилавкомъ; и здѣсь онъ панъ положенія.

Жутко и страшно дѣлается при видѣ, какъ работаетъ онъ локтями и съ пѣной у рта выкрикиваетъ:

— Къ намъ!.. У насъ товаръ первосортный, прямо можно сказать тепленькій. Пожалуйте къ намъ!

Груды бумаги исписываются, цѣлыя горы наваливаются на телѣги, въ вагоны и отправляются въ провинцію.

Бѣдная провинція, бѣдный провинціальный читатель! Чѣмъ только ни кормятъ тебя?!

— Позабористѣе, ребята, позабористѣе,—выкрикиваетъ чумазый,—чтобы, значить, въ носъ шибало... съ отрыжкой! Такая пища по скусу читателю!

И идетъ фабрикація пищи духовной «позабористѣе» и «съ отрыжкой».

Желудки не взыскательныя, перевариваютъ. Сколько переварили уже они,—и учеть трудно!

Въ Москвѣ цѣлыя фабрики существуютъ такого рода духовной пищи,—въ этомъ отношеніи Москва имѣетъ большое преимущество передъ всѣми другими населенными центрами,—цѣлыя кадры рабочихъ «отъ литературы» вербуются.

Раньше вербовала ихъ фирма Шустова для рекламированія шустовскаго коньяка, теперь тиражъ ея палъ до нуля,—на смѣну выступили московскіе лубочники.

— Платять хорошо,—говорилъ мнѣ одинъ изъ такого сорта рабочихъ «отъ литературы»,—кормиться можно.

А почему имъ и не платить хорошо, разъ товаръ идетъ бойко!

Иллюстрированные еженедѣльники, провинціальные и частью столичныя газеты взялись за поставку ходкаго товара съ удивительнымъ единодушіемъ, достойнымъ подражанія самыхъ лучшихъ начинаній. Мелькаютъ имена авторовъ такихъ, которыхъ раньше, до войны, и встрѣтить нельзя было. Подумать только, и откуда взялось у насъ такое обиліе «писателей»! Вотъ ужъ именно урожайное время наступило!

Читаешь все это написанное и диву даешься:

Съ кого они портреты пишутъ?

Гдѣ разговоры эти слышать?

Одинъ мой знакомый, докторъ, раненный шальной пулею на перевязочномъ пунктѣ, говорилъ:

— Противно даже читать! Въ послѣднее время я совсѣмъ пересталъ читать то, что такъ или иначе касается военныхъ дѣйствій.

И неудивительно! Перестанешь читать, когда попадаютъ такіе перлы, какъ «барабаны били отбой», «солдаты прикладами отбивались отъ пуль».

Или:

«...И соберутся въ кружокъ къ нашему гармонщику. «Сыграй,—говорять,—что-нибудь». Сейчасъ гармошка изъ-за голенища, и начнеть раздѣлывать...».

Что это за гармошка такая, и какія такія голенища у солдатъ?!

Читать такого рода рассказы и описательныя дѣйствія войны,—значить, терять непроизводительно время, наполнять голову трухой.

Когда однажды у Гейне спросили, почему онъ не пишетъ стихотвореній на

военныя темы, знаменитый писатель отвѣтилъ, что онъ не можетъ писать такого рода стихотвореній, сидя въ тиши кабинета.

А у насъ не только ремесленники изъ разряда чумазыхъ фабрикують стихотворенія на военныя темы, пишутъ разказы и цѣлыя драмы, не понюхавъ пороха и не имѣя ни малѣйшаго представленія о военныхъ дѣйствіяхъ, но и люди талантливыя, ничтоже сумняшеся, берутся за непосильное для себя дѣло.

Въ японскую войну Леонидъ Андреевъ написалъ свой «Красный смѣхъ». И что же вышло?

Левъ Толстой, прочитавъ его, выразилъ такъ:

— Онъ меня пугаетъ, а мнѣ совсѣмъ не страшно.

Я, конечно, не причисляю такого талантливаго писателя, какимъ, несомнѣнно, является Леонидъ Андреевъ, къ чумазымъ,—я только дѣлаю сопоставленія и выводы, какъ трудно говорить о томъ, чего не знаешь, и что не пережито душою и сердцемъ.

Въ русско-турецкую войну Всеволодъ Гаршинъ написалъ свой знаменитый разказъ «Четыре дня». Гаршинъ пережилъ всѣ ужасы войны и самъ былъ раненъ. И по поводу его разказа Глѣбъ Успенскій говорилъ:

— Попробуйте написать разказъ изъ военной жизни, не побывавъ на войнѣ,—ничего не выйдетъ.

Громадное, подавляющее большинство разказовъ, повѣстей, драмъ, статей написано такъ, что если-бы будущему историку вздумалось воспользоваться ими, какъ матеріаломъ, для своихъ работъ безъ надлежащаго анализа, то историкъ несомнѣнно впалъ-бы въ ложное освѣщеніе событій и фактовъ, и нарисованная имъ картина была-бы далека отъ истины.

А, между тѣмъ, всякій лоскутокъ печатной бумаги несомнѣнно составитъ достояніе исторіи. И теперь уже музеи заняты собираніемъ печатнаго матеріала, рисунковъ и всего, что такъ или иначе относится къ войнѣ.

Какъ все это грустно!

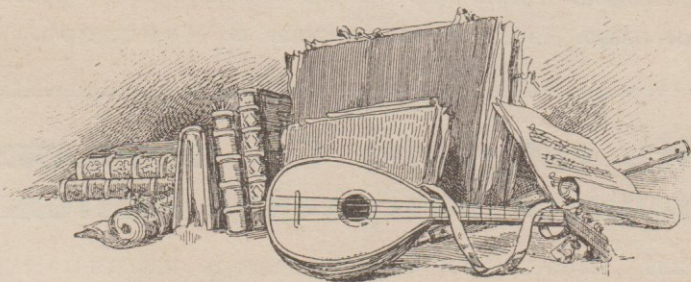
Не то, конечно, грустно, что музеи заняты собираніемъ печатнаго матеріала, а то, что въ литературу втерся чумазый и работаетъ локтями направо и налево.

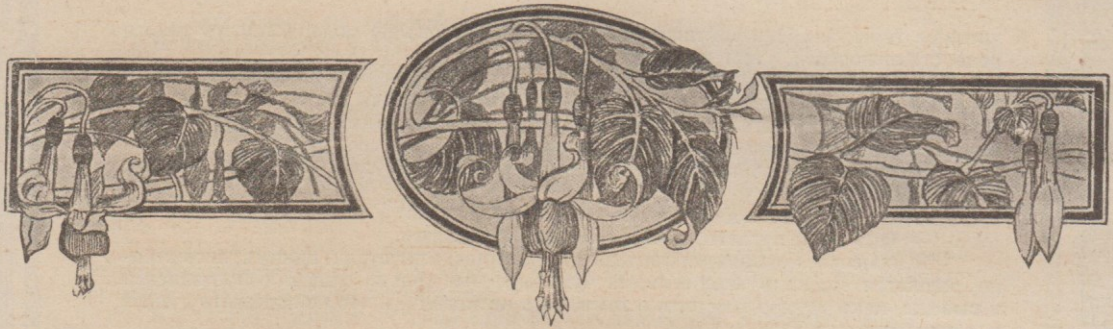
Нѣтъ для него ни препона, ни удержка; захватываетъ онъ своими цѣпкими, грязными руками, топчетъ ногами то, что такъ дорого и цѣнно для души и сердца человѣка, что составляетъ святая святыхъ его желаній, его чувства.

И хочется крикнуть, какъ можно сильнѣе крикнуть:

— Прочь съ дороги!.. Берегитесь чумазаго, его силы развращающей, сторонитесь его дыханія тлетворнаго! Онъ отнимаетъ не одни матеріальныя, но и духовныя богатства,—все отнимаетъ. Не знаетъ онъ ни жалости, ни состраданія. Сердце его холодное, какъ ледь, душа черства и не воспримчива, какъ камень.

Н. Степаненко.





СОДЕРЖАНІЕ,

Выпускъ одиннадцатый.

	Стр.
Зной. Стихотвореніе Александра Рославлева	351
Забуть, уйти... Стихотвореніе Георгія Казарова	352
Дуняшу просватали. Разсказъ П. Сергѣенко	353
Васильки. Стихотвореніе Георгія Дешкина	362
Ночные звоны. Разсказъ Аркадія Селиванова	363
Никогда. Стихотвореніе В. Дембовецкого	371
Просьба. Разсказъ С. И. Гусева-Оренбургскаго	372
Тайна лѣса. Стихотвореніе В. Уманова-Каплуновскаго	375
Свѣтлый образъ. (Памяти Н. В. Станкевича). Очеркъ Н. Д. Носкова	377
Выступленіе Италіи. Очеркъ Вл. Новоселова	379
Чумазый. Очеркъ Н. Степаненко	381

КАРТИНЫ: 1. Ея любимая пѣсня. Картина въ краскахъ Е. Замриги. 2. Лебединое озеро. Автотипія съ картины В. Менцлера.

Къ свѣдѣнію Г.г. подписчиковъ, пользующихся разсрочкой платежа.

Контора журнала „Пробужденіе“ считаетъ долгомъ напомнить о своевременной уплатѣ денегъ **ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ**. Деньги должны быть получены конторой **НЕ** позднѣе выхода въ свѣтъ № 12-го журнала, такъ какъ не поступающій въ розницу журналъ „ПРОБУЖДЕНІЕ“ печатается **ТОЛЬКО ПО КОЛИЧЕСТВУ ИМѢЮЩИХСЯ ПОДПИСЧИКОВЪ**, а потому позднія заявленія удовлетворены быть **НЕ МОГУТЪ**.

Редакторъ-издатель Н. В. Корецкій.

226191/581

1915 г.

Продолжается подписка на 1915 г.
на двухнедельный,

10-й годъ
изданія

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
съ картинами въ краскахъ

ПРОБУЖДЕНІЕ

Гг. подписчики получаютъ въ теченіе 1915 года:

24

РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА Художественно-Литературнаго и научнаго журнала „ПРОБУЖДЕНІЕ“.

50

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ КАРТИНЪ: въ краскахъ, на паспарту, фототипіи, портреты и друг.

12

КНИГЪ, ВЪ 3-ХЪ ПЕРЕПЛЕТАХЪ СЪ ЗОЛОТЫМЪ ТИСНЕНИЕМЪ, ЮБИЛЕЙНАГО ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНІЙ (по случаю 50-лѣтія со дня смерти):

М. И. МИХАЙЛОВА.

Книги романовъ, рассказовъ, стихотвореній и друг.

ДВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ УКРАШЕНІЯ ГОСТИНОЙ:

1. **АТЛАСНЫЙ ГОБЕЛЕНЪ**

въ стилѣ Людовика XVI-го.
Картина на атласѣ Буше.

2. **ПОСЛѢ ТАНЦА.**

Изящный стѣнной горельефъ художника Годварда.

Два украшенія столовой комнаты:

ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ

„Дикія утки“.

ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ

„Морскіе окуни“.

Художник.: Ел. Магюръ и Ф. Эрая. Красивая имитация рельефныхъ бронзов. фигуръ.

ИЗЯЩНЫЯ УКРАШЕНІЯ КАБИНЕТА:

Дѣвушка съ голубями.

ГЕЛЮГРАВЮРА СЪ КАРТИНЫ художника Ш. Шаплень.
Размѣръ 47×68 сант.

Стильный японскій альбомъ

съ картинами японскихъ художниковъ и рельефнымъ тиснениемъ золотыхъ украшеній.

Роскошная стѣнная картина въ краскахъ

знаменитаго итальян. худож. **ГЕРЦОНИ.**

СОЛНЦЕ ВЗОШЛО!

работы пост. Дв. Е. И. Велич. Голикѣ и Вильб.

Размѣръ 62×80 сант.

Въ ознаменованіе 10-лѣтія „Пробужденія“ будетъ выдана въ концѣ года

ЗНАМЕНИТАЯ АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВЪ КРАСКАХЪ

извѣстнаго художника **Ф. Лефлера.**

ПОДЪ ШОПОТЬ ГРЕЗЪ

Размѣръ картины 63×88 с.

Подписная цѣна: на первое полугодіе 4 руб.; на второе полугодіе 5 руб. на 3 мѣсяца 2 руб.; на три мѣсяца 2 р. 50 коп. На меньшіе сроки подписка 12 руб. не принимается. За границу

Редакція журн. „ПРОБУЖДЕНІЕ“, Петроградъ, Невскій, 114.

Редакторъ-Издатель Н. В. КОРЕЦКІЙ.

Цѣна отдѣльнаго № журнала 40 коп.